

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

8/2022



В номере:

Область познания

«Здесь нет времени и нет времён года... Здесь не нужны ни часы, ни календари... Иной мир, не знающий ни боли ухода, ни скорби прощания. Возраст твой — тайна, и число лет твоих не открыто никому, ибо некому спросить в пустыне о том, что помнит она, где её сердце, где её память. Всяк спешит уйти из неё к благословенным волнам океана, но воды его горьки...» Сюжетная рамка романа Дмитрия ИСАКЖАНОВА «Проскинитарий» — возвращение его главного героя из Арабских Эмиратов в Россию, домой. И это перелет сквозь океан времени, в котором островами возникают воспоминания о детстве и взрослении, люди (прежде всего — самые близкие: мать, поиски неизвестного ему отца в себе, истончающаяся в разлуках любовь жены, маленький сын), всё, что он «видел, всё, что он слышал, всё, что вдыхал лёгкими и впитывал через кожу».

«Собственной жизни важней»

Тема родины, её истории и судьбы — лейтмотив лирической подборки Игоря МАЛЫШЕВА: «Ничто не заставит меня молчать,/ Ничто не заставит меня заплакать,/ Только твоя, моя родина,/ Снегириная память». Эту же тему, будто откликаясь, подхватывает Вера КАЛМЫКОВА в поэтическом цикле «1937 год»: «О, как бы потомкам судьбу угадать,/ чтоб петь и плясать, а не плакать...» Игорь КУНИЦЫН размышляет о «личной вечности», а стихи Дмитрия РУМЯНЦЕВА — о любви, о проблеме нравственного выбора: «мы один на один выбираем человечью годину свою».

«А кругом поыхали пожары...»

«В глухом месте, на расстоянии сорока километров от ближайшей железной дороги, среди лесов и болот, на высоком пригорке приютилось село, которое все мы называли Кузьминкой. Посредине возвышалась деревянная церковка, и полукругом около неё — деревянные домики, крытые дранкой. Здесь разместились церковный причт: молодой священник с женой, вдова умершего священника, диакон со своим многочисленным семейством, дьячок с женой и детьми, просвирня и за оврагом — школа...» Так начинаются воспоминания Лидии Петровны ЧИСТЯКОВОЙ, дочери того самого умершего священника — «Мне посчастливилось...». Предреволюционные молодые годы, провинциальный быт, непростые отношения с мужем, учёба на курсах в Москве, рождение дочери, голодные годы Гражданской войны, работа в подмосковной колонии для беспризорных... XX век, просто жизнь.

Плодотворное одиночество

«Разговор о поэзии, когда его ведёт поэт — это стихи, лишь случайным образом записанные прозой. Даже когда в этот разговор вкрапливаются автобиографические, политические, филологические и прочие мотивы. В этой области есть свои вершины — например, «О поэзии» Мандельштама и «Азбука чтения» Паунда. Нельзя сказать, что последние лет десять-пятнадцать книг поэтов о поэзии было мало. Можно вспомнить сборники Григория Кружкова, Алексея Пурина, Юрия Казарина, Олега Юрьева...» В основе очередного «Литературного барометра» Евгения АБДУЛЛАЕВА — книги эссеистики Виталия Кальпиди, Максима Амелина и Андрея Таврова. «Успели ли интерес к таким сборникам в последнее время? Похоже, что нет. А жаль. Поэзия сегодня переживает драматичную трансформацию, и рефлексия о поэзии нужна как никогда.»

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.06.2022.
Подписано в печать 27.07.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 2730/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Дмитрий РУМЯНЦЕВ. На дне развоплощённых дней. <i>Стихи</i>	3
Дмитрий ИСАКЖАНОВ. Проскинитарий. <i>Роман</i>	8
Вера КАЛМЫКОВА. Собственной жизни важней. <i>Стихи</i>	87
Денис БАННИКОВ. Штучка. <i>Рассказ</i>	90
Игорь КУНИЦЫН. Личная вечность. <i>Стихи</i>	124
Дмитрий ЩЕДРИВЫЙ. Кружок экзистенциального воя. <i>Рассказ</i>	127
Георгий ПАНКРАТОВ. Кризис первого курса. <i>Петербургские студенческие рассказы</i>	145
Анна АРНАУТОВА. Земля. <i>Рассказ</i>	154
Игорь МАЛЫШЕВ. Порядок и вселенский кавардак. <i>Стихи</i>	160
Александр МОЦАР. Два рассказа на тему	163
Владимир ГУГА. В пяти шагах от дома. <i>Рассказы</i>	172
Арам ПАЧЯН. Потому что он меня ждёт. <i>С армянского. Перевод Л.Меликсетян</i> ..	182
Лидия ГРИГОРЬЕВА. Термитник. <i>Роман в штрихах. Книга третья</i>	193
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Вспоминая лето. <i>Стихи</i>	202

XX ВЕК. ПРОСТО ЖИЗНЬ

Лидия ЧИСТЯКОВА. «Мне посчастливилось...».	
<i>Публикация и вступительная заметка Леонида Дунаевского</i>	205

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О собеседниках.	
<i>Два письма на одну тему</i>	233

КРИТИКА

Сборный пункт. <i>Заочный «круглый стол»</i> . В этом номере — размышления Алексея АЛЁХИНА, Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА, Шамиля ИДИАТУЛЛИНА, Алёны КАРИМОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Анны КОЗЛОВОЙ, Алексея САЛЬНИКОВА, Дарьи СЕЛЮКОВОЙ, Юрия СЕРЕБРЯНСКОГО, Глеба ШУЛЬПЯКОВА, Ростислава ЯРЦЕВА	241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Александр МЕЛИХОВ. Защита Попова (В.Попов. «Любовь эпохи ковида»)	254
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Изобретение паруса (Г.Нерпина. «Остролист») ...	257
Елена СЕВРЮГИНА. В ожидании крупной добычи (А.Евсюков. «Двенадцать сторон света»)	260

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Фрагменты речи поэта	263
-----------------------------------------------	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Берегите ваши лица	267
----------------------------------------	-----

НАША ВКЛЕЙКА

Галерея Татьяны Назаренко (художники Т.Назаренко, А.Салахова)

Дмитрий Румянцев

На дне развоплощённых дней

предчувствие

жизни осталось на два алтына,
здесь, подле смерти — на два обола.
ветер отбытия смёл рутину
смуты душевной, тоску, крамолу.
что же послужит мне провожатым
к берегу вечно весеннего пира? —
крупная (д)рожь на полях несжатых?
в клетке зверинца глаза тапира?
время окончилось. жду секунду,
чтобы сменить на крылатость — кокон.
я и во храме лелеять буду
скрытность дверей и открытость окон
в новое чудо, что рой, летящий
к райскому улью,
прощай, несчастье! —
солнце и мёд! — а минор сквозящий
так и окончится, не начавшись...
с вечною свадьбою, новобрачный!

одной девушке

срифмуй нас, Господи, срифмуй!
сведи на шумный перекрёсток.
пусть станем рифмой перекрёстной,
ты ж над прудом на воду дуй!
мы так внезапно обожглись,
в густой толпе друг дружку видя,
что на весах животных видов
качнулась гирькой наша жизнь.

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «Культурология». Автор книг стихов «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Страдающее животное» (Омск, 2013). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Омске.

И даже папоротник цвёл
в лесу, где молча мы бродили
(не выбирая или-или,
там сосны встали, как костёл).
венозный кипяток судеб
плеснул на наковальню сердца
в одной из северных венечий,
где голубям крошили хлеб
минерва, марс, венера, феб...
и наша страсть в устах младенца
цвела взахлёб.

* * *

ну, давай, ну, давай не накручивай,
уходя на погодное дно,
эта жизнь — это самое лучшее,
что нам было дано!
ничего, что и трудно, и боязно
надприродного счастья просить:
в небе — ясно, на облаке — боинги
и кольцо восхитительных птиц.
я гляжу, и как хочется часто мне
опрокинуть глаза в небеса!
и жуки, и стрекозы, и ласточки —
это очи Отца!
и в анютины глазки, и в бабочек
Он глядит, а глядит — на тебя.
так давай же мы Бога отпразднуем,
что нас любит, любя!

пик ненастья

я отвернулся — и тебя не стало: ни влаги глаз... ни ливней сентября.
а раньше выжег я каким металлом на коже, что на сердце у себя,
листву волос, осеннюю тревогу, звезду в зрачках и то, как вздёрнут нос
под сводами бровей? но слава Богу, что мне тебя неволишь не пришлось!
и ты ушла. дождь звякал по карнизам. чертил цветы и бездну рисовал.
а ветер был пастозен и неистов. и по аллеям листья рассовал.
краплёный мир. дешёвые приманки! — я от него когда-то отвернусь.
и с дамой пик шарахну прямо в дамки, когда у дамы бубен схлынет грусть.
хороший день. удачная погода. по паркам бесприютных городов
тасуй судьбу, счастливая колода, пока на белом свете есть
любовь!

* * *

ах, почто мы ещё не в раю? но в аду, и нельзя на попятный!
мы свободой и мужеством платим за высокую душу свою.
и уже оступиться нельзя, отступить или час проваландать,
если снова твердят нам о главном горлопаны и мира князя,
а глубокая совесть молчит, но нельзя, чтобы совесть смолчала,
или в самое пекло — с начала, иль сперва — на погибель, на щит,
а потом — на коня, и адью! — в облака занебесного (к)рая:
мы один на один выбираем человечью годину свою...
все моря — твоему кораблю!..

крымский прохожий

ручеек копошился в овраге, точно как за отрогом прибой,
прикурил он от мака во мраке и тихонько пошёл за собой.
оказалось: душою собаки он бежит и бежит за судьбой...
ветер стих, на горах в Карадаге лунный свет занимался игрой,
и, как будто Евангелие от Марка, заповедной легла предо мной
тайна Слова, Прохожий инакий говорил обо мне не со мной!
дай мне, Господи, свет и покой! будь со мною и паки, и паки!

фото

нам так фотографии потрафили, как неизменно-близким людям:
на чёрно-белой фотографии мы всё ещё друг друга любим.
на дне сентябрьского вторника под переключки иволг-своден
мы, как курортные любовники, ещё друг с друга глаз не сводим.
а бархатный сезон кончается, а жизнь летит дугой хайвея,
и от надежды до отчаянья — одна плакучая аллея,
где ивы громоздят печальные на небеса витые ветви,
и эта карточка случайная так греет дух, что мы — бессмертны.

летом

бежит вода в разохшийся цветник
по многократно перевитым шлангам
гул облачной фаланги, что фанданго
под сонным солнцем сохнет колосник
...а в чаше — плёс, и там поёт родник
о южном зное в северной стране
глазастых вертолётах, стрекозах
сне жизни и её метаморфозах
речных стремнинах, стонущей стерне
о брёвнах барж на бережной волне
а бежин луг лютует и цветёт
и бабочки садятся на запястья
всё так, что если есть на свете счастье
то этих дней всегда наперечёт
их лето дарит снова и ещё...

* * *

оставь на счастье свой автограф
(татуировкой на руке)
я — полустёртый злой петроглиф
в гудящем омском тупике
в душе твоих ночных историй
и истерии в душевой
и если я чего-то стою
то будь со мной
вот я, кудлатый чёрный мамонт,
влачусь по камню на стене
ищу момент свой стих оставить
в твоей вполне
стране, галактике, вселенной
на дне развоплощённых дней
в судьбе обыденной и брэнной
как на войне
где можно стать героем тоже
в стихии смельчаков. в чреде
стихов и снов всеильных дождей
весной в венеции дождей

мальчик

полит сияющий газон
полит асфальт и солнце слепит
и ходит мальчик аронзон
один на свете
он входит в райские сады
в веселье бабочек глазастых
он пьёт стихи и дарит счастья
плоды
а на лугу полно стрекоз
шалых очкарок-книголюбок
они его читают, любят
в апофеоз
грозы
...и молнии заряд
разит, чтоб угодить поэту
попасть в октавы и сонеты
в нескучный сад
он сочинит всех-всех на свете
и станет рад

* * *

лети-лети мотылёк
волной житейского горя
ты словно бы якорёк
на дно фонарного моря
судьбою схожий с душой
(ещё успеешь ожечься)
чтоб стихотворной строкой
на тротуары улечься
неси ночную пыльцу
демисезонного платья
тебе на небе к лицу
объятье вроде распятыя
лети сначала к концу
недолгим летом проспекта
тебе знакома, исус
твоя бессмертная секта
лети залогом, лети
обетованного рая
мою тоску освети
о радость тихо сгорая
неси святую зарю
на крыльях сонной печали
я тоже, милый, умру
и *там* тебя повстречаю
я тоже, малый, крылат
и тоже знал или-или
я также бился об ад
чтоб в свет меня допустили
и среди многих, кто зван
ты тот, кто умер и избран,
лети, сусанин иван
веди на смерть ради жизни

осенний

вот и кончилась сказка, андерсен:
и на завтра уже сентябрь
понимаешь? — и хлынет — андестенд? —
вечный царственный *dance macabre*
и простолюдинный, и княжеский
закружит перелётный лист
и уже не достанет ханжества
бурю чествовать, нигилист!
и уже не достанет пороху
осиянную жизнь палить
будут клёны осенним ворохом
призывать выживать, любить
эти смутные деревенские
нижнеомские вечера
а потом очных ставок, следствия
и признаний придёт пора
словно в кроне одной закованы
и бандиты, и опера
и вороны — птицы-раскольники
с недо(с)казанной пробой пера

Дмитрий Исакжанов

Проскинитарий

*Роман**

Лабиринт

І. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ

«Поверь, поверь... — убеждают его голоса, поют ему ласково. — Раскисла земля, и стаял снег. Ветер холодный, закрученный, как ракушка, царапает лоб; опавшие листья поднялись, восстали из срама...» «Нет! — отвечает он голосам. — Нет! Доколе сам не увижу своими глазами, доколе руки мои не коснутся рекомого, — не поверю ничему!» И поджимает губы. И зажмуривает глаза. И отворачивается в сторону, где стоит дом его юности.

Ооооо!.. Ууууу!.. Аааа... Опростились луга, бурые стебли дрожат и мнутся. Голые ветви... Взгляни, взгляни, — дом почернел и обвис под слегами! Сад разорён, но рад, рад...

— Terminal two, right? Sir, terminal two? Right?

— А? — Заяц чувствует, как Алекс толкает его локтем в бок, и открывает глаза. Задремал. Нет, вылетать в такую рань — это просто издевательство.

— Терминал какой, спрашивают. Второй?

— Ээээ... Да. Да-да. Yes. Right.

Мохнад — водитель фирмы, маленький курчавый индус в джинсовой бейсболке козырьком назад, удовлетворённо кивает и отворачивается. Тянется к приёмнику и тремя пальцами, сложенными в щепоть, втягивает почти утёкшую музыку за кончик обратно в салон. Остановившийся было автомобиль опять набирает ход, а кондиционер выплёскивает из себя новую порцию сырого холода.

«Мохнад — вонюдьж и волосад... — думает Заяц отрешённо. — Мохнад любитель виноград... У них там, небось, всё не так, у них...» Но что «всё» и у кого «у них», Заяц не додумывает — мысли его сейчас неповоротливы и тяжелы, и собирать, ворочать их неподъёмные глыбы у него нет никакого желания. Он хочет спать, он взволнован

Исакжанов Дмитрий Константинович — прозаик, поэт. Родился в Омске в 1970 году. Образование высшее юридическое. Автор книги стихов «Проверка зрения» (2007) и книг прозы «Доля ангелов» (2016), «Толкование прошлого» (2021). Печатался в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность» и др. Живёт в Подольске.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* *Журнальный вариант*

предстоящим полётом — как всякий, видящий чудесное повсюду, — он рад скорому возвращению домой, и он устал. Тревогу его, старательно подавляемую, выдаёт лишь лёгкая рассеянность ума и, может быть, немножко, — физического тела: он находит себя то здесь, в автомобиле, то уже в салоне самолёта, то ещё на вилле, то, наконец-то, там, на пороге дома. Пытаясь усмирить разбушевавшуюся действительность, подобно тому, как умиряли когда-то морские волны, выливая в них масло, Заяц представляет, как хорошо ему спится в своей постели под тонкой простынёй, под жужжание кондиционера.

Детский лепет дикторов, вещающих где-то за проливом, под баньянами и бананами, мяуканье певиц, треньканье ситаров умягчают колючие огни фонарей, стелются по велюрам салона. «Ситары, сатиры...» Перед глазами Заяца заросшие ворсом карлики пощипывают нежные струны.

Скоро мельтешение пальм и рекламных щитов снова замедляется: подъехали к аэропорту. Незнакомые деревья в театральном освещении рампы, скрытых в траве, кажутся ещё страннее, чем они есть на самом деле. Теперь их можно разглядеть подробно: стволов почти не видно, а тончайшие, невероятной длины, изломанные в каждой пяди ветви, сбившись в колтуны, густо свисают до самого песка, смыкаются с ним, стелются, подгибаются внутрь. Они похожи на пепельного цвета водоросли.

«Надо же, какие... Похожи на обрывки рыбацких сетей... — чётко, словно суфлёр, артикулируя, говорит себе Заяц. — У нас в Мусафе таких нет...» Совершенная фразировка, чёткость звуков и полнота окончаний — это тоже способ собраться, сконцентрироваться в магической неопределённости ночи.

Недавно из таких же вот сетей на Саадияте, когда покидали Лувр, перед самым капотом вырвалась на дорогу и скрылась за опорами виадука стайка антилоп: пять-семь сухих мускулистых тел цвета охры. Тех самых, которые «даби». В жёстком ргутном свете, падавшем сверху и сбоку, он почти ничего не успел рассмотреть, хотя ещё долго и старательно оборачивался. Таращился даже тогда, когда дорога, сделав поворот, отбросила место события далеко в сторону.

Вспомнив об антилопах, Заяц говорит себе: «Надо бы рассказать дома Женечке и Варваре, как я видел антилоп». И, чтобы не забыть, тянется рукой к полу, — взять в сумке с ноутбуком блокнотик и ручку, записать. Он знает, что это будет не одно и то же: событие и воспоминание о нём. Наложённые друг на друга, они придадут случившемуся новый смысл: недвижимый бег в сторону залива, видимый сквозь дымчатую глубину проходящего времени, но достоверность здесь не играет большой роли.

Блокнот Заяц нащупал, а ручку никак не мог отыскать — затерялась где-то в складках. «Ладно, — говорит он себе, — запишу позже. Всё равно сейчас писать неудобно. Да и некогда уже».

Странные деревья остались позади. Впереди — залитое светом огромное двухъярусное здание, амфитеатром огибающее автостоянку и неожиданно заканчивающееся справа и слева чем-то напоминающим трансформаторные будки. Прижавшись к обочине, машина останавливается прямо напротив огромных раздвижных дверей с надписью серебром Terminal two. Мохнад опять обращается к пассажирам, лицом своим являя равнодействующую дружелюбия: взор его, равноудалённый от обоих, упирается в середину спинки заднего сиденья, туда, где из-под порванной обивки высовывается крохотный кусочек грязно-жёлтого поролон.

— Finish! Goodbye!

— Спасибо-спасибо! Goodbye-goodbye! — Алекс ухитряется на прощанье взмахнуть рукой водителю и как-то почти сразу нырнуть в разверзшийся багажник за своим скарбом. Следом, неловко оттолкнувшись, вываливается в горячий и вязкий, как воды Залива, ночной воздух Заяц.

Хлопают дверцы, бухает крышка багажника, машина уезжает. Заяц с Алексом бодро направляются ко входу. Колёсики чемоданов весело выстукивают на стыках плитки музыку возвращения: «Домой! Та-там, та-там, та-там!» Сонливость, кажется, прошла бесследно, Заяц ликует: «Домой, домой!» Всё в себе нравится ему сейчас: и новая, прибережённая специально для таких целей футболка, и намытые добела кроссовки, и ещё ломкие, час назад снятые с верёвки джинсы, пахнувшие морским канатом и парусами. Руки Зайца подрагивают, голова немного кружится, но это ерунда! Через шесть часов он будет дома!

Заяц глубоко вздыхает.

Невидимый водяной пар, горячий и плотный, пеленает тела, препятствует движению. Приносимый ветром с Залива, он насыщает воздух запахом соли, запахом гниющих морских растений и животных, запахом песка. С другого берега доносятся ароматы специй. Путешественники плывут сквозь волны чёрного перца и даммара, сквозь корицу и ладан. Гул самолётов едва пробивается сквозь их маслянистую тяжесть, но он настойчив, он неизбежен, он слышен им: он похож на гул безбрежной беспокойной дали. Постепенно отрешённость, свойственная всякому, кто готовится покинуть привычные края, охватывает путешественников, магнетизирует их обещанием вечного движения. Пока-пока, благословенная земля, та крайняя точка бытия, которой только можно достигнуть!

Подмышки через двадцать шагов у обоих уже вспотели, Заяц чувствует, как узковатые трусы режут в паху, а у Алекса видно, что рубашка на спине намочилась, обозначив два тёмных крыла лопаток.

Огромные стеклянные ворота бесшумно расскальзываются и, чуть помедлив, смыкаются позади вошедших. Заяц и Алекс замирают сразу за порогом, оглядываясь: зал непривычно пуст.

— Уф! — сказал довольный Алекс. — Повезло! Народу мало. Даже регистрация ещё не началась, — он оглядывает стойки. — Ладно, пойдём, что ли, присядем пока.

Прямо напротив входа, у дальней стены пустуют ряды кресел. Еле возит по полу тихой шваброй маленький филиппинец. Вот, кстати, и табло. Тааак... Алекс ищет взглядом заветную строчку.

— Чота нету нашего рейса. Вот, только какой-то на четыре двадцать, в Шереметьево.

— Наверное, ещё не обновили после полуночи, — откликается Заяц. — Нужно подождать. Вон и стойки ещё все закрыты.

Алекс хмыкает:

— Ну, пойдём, что ли, бросим кости.

И оба направляются к креслам.

Сев, Алекс долго и обстоятельно возится, сливаясь с мебелью, поправляя чемодан, меняя местами коробки и сумки, укладывая и перекладывая в ногах рюкзак. Затем оглядывается кругом и, снова привстав, достаёт из рюкзака пакет с бутербродами. Заяц сидит рядом, в ногах у него та самая сумка с блокнотиком, поодаль — чемодан. Кроме истории с антилопами, записывать оказалось больше нечего — Заяц ещё раз

добросовестно проверил свою память, — точно, нечего. Всё остальное было записано или сразу, или почти сразу. Благо, что свободного времени оказалось даже более чем достаточно...

Подперев голову рукой, он прикрывает глаза. Справа раздаётся мерное хлюпанье и чавканье, словно в корыте в мыльной серой воде полощут исподнее — Алекс занялся перекусом. Закончив с последним бутербродом, Алекс пихает Зайца локтем и искоса взглядывает на него:

— А ты что, ничего не взял с собой?

Заяц, не меняя позы, пожимает плечами. В животе урчит — зря он, конечно, подумал, что ночью ему не захочется есть.

— Да... Забыл.

— На, держи! — Алекс достаёт из рюкзака яблоко.

Заяц рассеянно берёт и, повертев, подносит к пылающим щекам. «Спасибо». Тёплое, даже горячее. Пахнет... яблоком. Снова безумно хочется спать. Даже сильнее, чем есть. Нет, всё-таки не спать ночью — убийственно. Противно человеческой природе.

— Не ссы, артистократ. Я помыл, — подмигивает Алекс Зайцу, видя заминку.

Заяц невольно улыбается: его забавляет способность Алекса безбожно перевернуть слова и поговорки. Воображение Зайца с готовностью рисует ему все эти выверты, так что ему даже кажется, что он сам невольно соучаствует в их создании. Например, Алекс произносит: «Скрепя сердцем», — и Заяц, явственно слыша этот сухой песчаный скрип, утверждает его существование в мире. «До белого колена», — говорит Алекс, и Заяц, буквально видя это калёное, светящееся от жара сочленение, находит ему место в ряду других таких же аномалий и патологий, созданных ранее. «Пошла плясать губерния», — сообщает Алекс, и вот уже под тяжёлый мерный топ ходят ходуном, шатаются верстовые столбы — Заяц видит их явственно, словно воочию.

Какая тишина! Алекс, вытянувшись, полулежит в кресле, закрыв глаза. Заяц убирает яблоко в сумку, кладёт голову на подставленную под скулу руку и тоже закрывает глаза. В этой заминке, случайной и временной, ему чудится некая её необходимость, происходящая из самой внутренней природы путешествия, исходящая из смысла расставания с чем бы то ни было, потребность помедлить с поднятой уже для шага ногой, на сходнях. Как странно: ни объявлений дикторов, ни прибывающих пассажиров. Даже филиппинец ушёл, бесшумно катя перед собой тележку с вёдрами и швабрами. Кажется, Заяц успевает даже задремать, во всяком случае, ему кажется, что внутренний покой его, такой неустойчивый, с таким трудом отысканный, опять тихонько тронулся с места и куда-то медленно поплыл, обнажая клубящееся на дне, поднимающееся, приближающееся...

От толчка Заяц едва не подпрыгивает, — это Алекс, склонившись, тормозит и тревожно шепчет:

— Слышь, чего-то народу так и нет ни хрена! А самолёт через час. Ты ничего не перепутал?

С трудом выбираясь из беспокойного хаоса, всё ещё застывшего ему понимание, Заяц машинально переспрашивает:

— Я? — трёт лоб. Сверху-вниз, осторожно. Не трёт даже, а поводит по нему, словно кончиками пальцев пытается считать что-то с его поверхности. — Э... Да вроде нет. Ну-ка, давай посмотрим, что там пишут. — Он лезет в боковой карман чемодана, достаёт распечатку билетов: терминал три.

— Три! — Алекс взвизывается. — Ну ты, гля, даёшь, начальник! Три! А я-то думаю...

Зайцу становится очень-очень жарко. Подхватив багаж, незадачливые путешественники устремляются по переходу налево. Третий терминал не так уж и далеко, но до него нужно ещё добежать, а там, наверняка, у стоек очередь, а времени остаётся в обрез!

Перед глазами Зайца мельтешат антилопы, меркнет пространство, ему тяжело. Сердце трепещет под рёбрами, и сейчас особенно чувствуется, какое маленькое оно, какое оно слабое. Тело Зайца ещё упрямо продвигается вперёд, но уже ноет и ощутимо теряет напор, словно с каждым шагом оно развоплощается, поддавшись панике, словно становится оно дымом, что податливее здешнего воздуха, которого сейчас так не хватает ему.

Ну, ещё чуть-чуть!

Лестницы, переходы, эскалаторы, снова лестницы — всё время вверх. Долгий прямой коридор, полутёмный, пустой, своей безлюдностью внушающий ложные надежды, вдруг некстати начинает ломаться, путаться, пускать обманные побеги, ветвась, и заполняться людьми. Куда бежать? Заяц и Алекс едва не пришли уже в отчаяние, когда голос диктора раздался откуда-то сверху. Невнятный и глухой, он был им маяком и провозвестником. Бегуны замерли: чуждые слова скакали, наталкиваясь на самих себя и себя же перекрывая, дробились, рассыпались осколками. «Что там?! Что это он, кажется, про Москву?!» — Алекс, задрвав голову к невидимому репродуктору, с отчаянием вопрошает небеса.

— Нет, это про Маскат. Вылет задерживается.

— Ну, тогда поднажали! — Алекс с облегчением выдыхает, будто задержка рейса в Маскат автоматически гарантирует успех с рейсом в Москву. И Заяц послушно поднажимает. Сейчас он собран и целеустремлён, сонливость и тревога окончательно оставили, затерявшись, иссякнув среди мраморных извивов, меж сочленений и секций.

Топот, пот, задорное тарахтенье чемоданных колёсиков на стыках плит. Группка местных школьников. Разорванный хоровод индусов: замерли, словно вспоминают что-то коллективное. Мамаши с младенцами, растянувшиеся шеренгой от края до края. Степенные, как ожившие статуи, арабы. Приходится протискиваться, проталкиваться, тормозить, ускоряться, и вдруг — толпа китайцев: ни проехать, ни проскочить! Заяц и Алекс оббегают их по широкой дуге. Огромный матерчатый чемодан бьёт Зайца по коленям. Хорошо, что у него он только один, сумка не в счёт. Сзади тяжело сопит Алекс — у него барахла целая гора: путём тайных сношений с секретаршей он заполучил два багажных места. Вот на пути возникает змейка, выведенная по вновь абсолютно пустому залу из столбиков и бархатных шнуров, прикрепленных к золочёным навершиям, и с разбегу опаздывающие влетают в её устье и вырываются, наконец, на финишную прямую: вот они, вожделенные стойки регистрации!

У стоек народу немного, и работа идёт споро. У Зайца перевес. Пять килограммов. Лиловый лоснящийся сотрудник в малиновой униформе неумолим: «No, sir. Too heavy. Something needs to be removed». Заяц в отчаянии. Обливаясь потом, он лихорадочно соображает: что, что убрать? Там и так, кроме подарков Варе и Женечке, ничего, считай, и нету. Вот только... Но нет. Заветный мешочек он не оставит ни за что. Брахиоподы, бивальвы, великолепно сохранившаяся, размером с куриное яйцо,

Вера Калмыкова

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ВАЖНЕЙ

1937-й

1

Безразмерен Рай, всем места хватит:
дети разместятся на полатах,
взрослые уйдут в поля молиться,
засмеются ангелы и птицы,

даже если помнили — забыли,
Господи, за что их всех убили.

2

Мне не снится, не мнится,
и собственной жизни важней —
неживых вереницы,
замученных толпы людей.

Так узко поднебесье.
Заносится ветер, спешит
с однозвучною песней:
Степан, и Рахиль, и Рашид.

Неужель им забвенье,
навек растаявший взгляд?
...Чередой видений
всё мимо и мимо летят.

Мир беспамятно-полый —
ни правда, ни ложь не видна.
И народ мой неполон.
Да я и сама неполна.

3

Судьбы, лишённые личной судьбы.
Коммунары
в земляной коммуналке.
Обелиски
братского кладбища —
кровно родные по смерти.
Если скажут, что нет их и не было —
сжальтесь, не верьте.

На скрижалях,
в обнимку,
и с теми,
кто сажал их.
Шум безвременья. Призраки
человеческих дел.

В сумме — расстрел.

4

Написанный текст до небес вопиёт.
Их нет, а признания стонут.
Неужто забыл стомильённый народ,
бараки, и вышку, и зону?

...И женские косы речные,
песчаные и льняные...

А Господу надо — нам петь и плясать,
всё петь да плясать, а не плакать.

Архивы взрываются речью живой,
неслышной, невидной, ненужной.
И сонмы по стогнам уводит конвой
опрично, кромешно, наружно.

...И женские косы речные,
песчаные и льняные...

О, как бы потомкам судьбу угадать,
чтоб петь и плясать, а не плакать...

* * *

пледом накройся печенье пожуй
новости жизни страны
пресное зрелище смерти чужой
не оставляет вины

тряпки и жижа и мяса кусок
только что был человек
каждому выпадет неба глоток
зритель уже пообвык

крепок желудок и сладостен сон
это же он, а не я
колокол пущен и слышится звон
гибель твоя и моя

нет не меня заклинают вернись
злую надежду храня
хлеба и зрелищ заслуженный приз
после рабочего дня

это же там далеко а не здесь
взрывы стрельба пустыри

Только и вымолвит мёртвый с небес:
мама, прошу, не смотри.

Денис Банников

Штучка

Рассказ

*No one asks me for dances
because I only know how to flail*

Кто-то умолк, что-то стихло.

Варя не отпустит эту ситуацию, пока не почувствует себя любимой. Кому-то нужной. Белая плитка, жилистая бирюза за окном, которого нет. Варя топталась перед дверью — шаг вперёд, шаг назад, — пританцовывала, пока приборы не признали её присутствие, её существование. Приторный писк откусил от тишины. Белая плитка, почерневшие зазоры. Белый свет, как в салоне сотовой связи. Белое море, вдалеке — линия горизонта, вот уже высокая стойка впивается в живот.

— Всё нужное с собой?

Странный вопрос, странная женщина. Про таких потом говорят — «дамочка». Блестяшки в ушах, побрякушки на запястьях, два матово-чёрных ногтя. Взгляд из-под устремлённых к вискам бровей.

— Подождите в коридоре.

Варя побрила лобок. Разогрела станок под краном, всё равно порезалась. Наверное, запеклось. Мимо полупрозрачных стоек и пластиковых карманов с листовками на дырчатое, как в аэропорту, сиденье. Варя взяла мешок на резинке, в котором когда-то носила сменку. В мешке — сорочка из светлого батиста, на Варю — джинсы с высокой талией. В мешке — прокладки, полотенце, какое-то бельё.

— Первым делом нужно сделать УЗИ.

Варя купила прокладок с запасом. Предлагали витамины в капсулах, предлагали протеиновый батончик, настойчиво предлагали витамины в таблетках, шипучие, лучше всасываются. Варя купила прокладок впрок, купила батончик-мюсли. Рядом с ней пара загорелых ног в тёмно-синих кедах. Белая шнуровка. Нога покачивается на ноге, рука на животе. Варя не примет эту ситуацию, пока не почувствует себя любимой. Пара загорелых ног, тусклые вены пузыряются на икрах, рвутся наружу загнанные под

кожу металлические шарики. Голова угрюмо склонена, что-то бормочет под нос, смастерила чётки из слов.

— И вот здесь, — ноготь упирается в плохо пропечатанную линию.

Варя купила болеутоляющее. В кабинете ничего живого. По кромке лба родимое пятно — похоже на разрезанную пополам морскую звезду. Кто знает, сколько этого пятна под волосами. У Вари ещё много времени на то, чего она не хочет. Руки живут отдельно от тела, пальцы резво печатают. Дежурные вопросы. Голова то и дело поворачивается к Варе, как блюдо в микроволновой печи. Стерильная улыбка.

— Жвачку тоже исключить. — Под волосами ещё много родимого пятна. — Секретия желудочного сока — вещь непозволительная.

Варя сидела на продавленном диване, который передвинули на балкон. Кругом тёмно-красные пуфики. Пробковый сбор, как билет в купе. Дверь в туалет закрывается на крюк, должна закрываться на крюк, но приходится придерживать. Багровый свет скользит по кованой ограде. Багровый свет заполнил яму. Над ухом гудят басы. Платформы — продолжение ног, подошвы давят виноград на вино. Кружатся, как метатель диска перед броском. Размахивают руками, будто тонут.

— Кардиограмму давно делали?

Варя ничего не ела вечером, ничего не ела утром. Кажется, даже кофе не выпила. Живот — подушка для булавок. Живот — trebуха. Холодный гель пятнами, ролик щекочет кожу. Изнутри глядят крылом.

— Говорю ему, вот тебе номер, туда извиняйся! — новая песня, подлил вина. — Мы делаем иконки такими, чтобы их захотелось лизнуть. Вот-вот... Всё так, не знаешь броду, не суйся в воду, о чём и речь.

Варя хотела покрасить волосы, перехитрить кровотока. Медляк. На нём белая футболка, проступает ключица. Штаны хаки, белые кеды с металлическими петельками. Рука поглаживает бедро, цепляет край кожаной юбки. Гладит там, где съежилась плёнка, под плёнкой только-только зацвело какое-то растение, распустилась акварельная лоза. Припухлость не спала. В ушах у него белые затычки. Подлил вина.

— ВИЧ, гепатит, сифилис... — печатает. — Мазок на флору.

Когда он протолкнулся, её чуть не стошнило. Принял за комплимент. Горел свет в прихожей. Варя смотрела, как сокращаются мышцы живота, как пляшет розоватая линия, след от резинки трусов. Красная водолазка свисала с края кровати. Будто хотел чихнуть, но не мог. Потом ей в рот будто несколько раз чихнули, привкус смекты из детства.

— Братан, если ты просыпаешься и тебе насрать, — подлил вина, — это инвестиции. А если ты каждое утро на измене — это спекуляция. Тут просто, моё казино — теория вероятностей, а не вот это всё.

Варя купила краску, но решила подождать, обошлась трессами. Натуральные волосы, а не вот это всё, две рыжие пряди. Варя ждала, а оно не началось. Купила подороже, голландские. А то как на ромашке гадать. Его пальцы крадутся выше. Подлил вина. Напротив сидел его друг. Петушиная причёска, челюсть — как медвежий капкан, красная водолазка под самый подбородок. Пиджак. Мыски мокасин под столом.

— Варвара... — запнулась.

Перед выходом хотелось что-то с собой сделать. Варя отмирала себя, оживляла себя. Гель для умывания, абрикосовые косточки, корейская слизь, что-то улиточное, подсохла терракотовая глина. Холодная вода. Лежали на кровати, рука на его груди. Разогретые простыни, мокрый хлопок, с улицы веяло прохладой. Тяжело дышали.

В полумраке горел зелёный огонёк, в футляре заряжались белые затычки. Варя выключила воду, выдавила жировик на бедре. На уголке верхней губы вскочили мелкие прыщики, будто смазался контур помады. Варя наспех заправила непослушный локон за ухо. Перед выходом не погасила свет.

— Варвара, — блеснуло в мочке уха. — Вы готовы?

— Нет.

Варя схватила мешок и подорвалась к выходу.

Позади сомкнулись возмущённые голоса. Варя ехала домой, что бы это ни значило. В вагоне поезда полупусто, тёмно-синим подмигивают разъёмы для зарядки. Напротив Вари сидит женщина в теннисной повязке, между ног зажата коробка, из которой торчит не то весло, не то лопата. Верхушка обтянута пакетом. Надпись на коробке — «металлоискатель». Варя не отпустит эту ситуацию, пока не поймёт, что это за ситуация. Голос машиниста звучит так, будто его только разбудили.

Что-то о закрытом участке.

Поезд вытошнил всех пассажиров разом.

Варя вобрала чей-то локоть боком. Варя почувствовала, как чьё-то плечо ударилось о её плечо, будто деревянная ложка стукнулась о деревянную ложку. На эскалаторе кто-то споткнулся, но вовремя ухватился за поручень. Паренёк в красном жилете держал в ладонях стопку билетов. Будто хотел показать фокус, предлагал вытянуть карту.

— Просим прощения за поломку, — в глаза не смотрит. — Вот, это для вас бесплатно, маршрут... маршрут уточняйте у водителя, да?

Тронулись.

Весь салон тут же прикорнул. Варя велась в лад с кривизной дороги, крутогорьем города, тряслись похожие на кастеты ручки, свисавшие с перекладин. Голова к стеклу. Как в сопливых мелодрамах. Салон окунули во тьму. Мимо то ползла, то неслась предсказуемая жизнь, которая медовыми кляксами, ломаными линиями напоминала о себе. Призматический танец на кожеце века. Потусторонняя повседневность. Водитель прохрипел остановку. Не её это остановка, но что-то внутри распружинилось, название разлетелось по салону, задрожало эхом, словно гитарист нажал на педаль. Варя отлипла от спинки сиденья, меж лопаток — мокро и жарко, будто покалывал перцовый пластырь. Водитель сделал последний предупредительный.

Варю подхватила какая-то инерция, выплюнула на улицу.

Автобус двинулся дальше.

Варя, утянув мешок, двинулась вглубь.

Всё так знакомо.

Во рту хрустели мюсли. Всё так знакомо, но совсем по-другому. Раньше под ногами волновался асфальт, теперь же тротуар выложен каменными прямоугольниками — темнее и светлее, — некоторые, стоило наступить, кренились как детские качели. Подземный переход весь из пёстро-гранита, ни одного ларька, никаких тебе пиратских фильмов, пиратской музыки, пиратских игр, никаких банок чая с цветастыми этикетками. Варя никогда ничего не покупала, но по пути из школы просила открыть приглянувшуюся баночку. Глубокий вдох. Варя показательно морщила нос, но по пути домой перебирала запахи. Смаковала. Белый шоколад, миндаль и пряная корица, морковный торт, кусочки грецкого ореха. Василёк и ромашка. Когда как. Никто не распевал песни, не выпрашивал копеечку. Опорожнённая кишка. Прохожих потеснила поливальная машина. Ярко-оранжевая мигалка. Морось на руке. Канистра воды расплющена между катушкой шланга и цистерной. Машина лениво

Игорь Куницын

Личная вечность

* * *

1

Всё, что написано гением
в жизни его круговерти
кажется мне преступлением
перед бессмертием смерти.

Вечность у каждого личная,
вечность всегда под вопросом,
вечность — она же обычная
набок упавшая восемь.

Только от трезвого гения
ждать откровений не надо.
Спрячет он боль и сомнения
от незнакомого взгляда.

В рюмочной после открытия
водку возьмёт и огурчики.
«Вечность — она на любителя», —
крикнет и рухнет со стульчика.

2

В полдень, гуляя по городу,
встретил я пьяного гения.
Грели беднягу от холода
и целовали растения.

Куницын Игорь Николаевич — поэт. Родился в 1976 году в Печоре. Окончил Медицинский институт в Архангельске, учился в Литературном институте им. А.М.Горького. Автор трёх книг стихотворений: «Некалендарная зима» (Минск, 2008), «Портсигар» (М., 2016), «Макадам» (М., 2019). Лауреат конкурса им.Сергея Есенина, финалист «Илья-премии» и др. Живёт в Домодедово.

Клёны — друзья закадычные —
слушали грустный рассказик.
А уводили обычные
люди, бросали в узик.

День от бессилия портился,
листья несло и крутило,
ветер в початую хортицу
дул под скамейкой уныло.

Скучно природе без гения,
с гением тоже не очень
весело, но, тем не менее,
надо признаться, а впрочем...

* * *

Я задрёмывал с книгой в руках
от усталости обыкновенной
в электричках и в прочих местах
наблюдаемой ныне вселенной.

Иногда просыпалось во сне,
бытовым приглушённое чувство,
что волшебное свойственно мне
постигать ненароком искусство.

И тогда мне казалось, что я
персонаж фантастической книги,
что история жизни моя —
пораженья, победы, интриги.

И поэтому мне самому
удавалось чудесные вещи
в своём собственном делать дому
без подтёков, царапин и трещин.

И когда дождевая вода
залетала в открытые окна
электрички, будя иногда,
я из сна выходил, не промокнув.

Возвращался к реальности дней,
что меня окружают поныне.
То короче они, то длинней.
То песок на пороге, то иной.

* * *

Ля-ля-ля тополя, потерявши терпенье,
 предисловие не дочитав до конца,
 переходишь к конкретике, к стихотворенью
 то ли Бродского, то ли другого истца.

Про покинутый сад, про потерянный, то бишь,
 где рябины цветут среди лип и берёз.
 Возмужавшей печалью себя не прокормишь, —
 отвечает ответчик в дыму папирос.

Хоть и сад небольшой, подмосковная дача,
 дом с мансардой, колодец, теплица, сарай,
 там и детство прошло, там и юность, а значит,
 это был или есть мой потерянный Рай.

Дом соседям продали, а сад потрепали,
 но я вижу, когда прохожу вдальеке,
 кроны яблонь больных, желтизну на металле
 подоконника, мальчика в светлом окне.

* * *

Если мне особенно светло,
 я включаю радиоприёмник,
 выпиваю водки полкило
 и плыву, держась за подоконник.

Мне навстречу яблоневый сад,
 облака вчерашние навстречу,
 красно-апельсиновый закат,
 прошлое, забытое навечно.

Прошлое, забытое вполне,
 но напоминает девяностых
 хитпарад на радиоволне
 мне о счастье, сшитом не по росту.

Было счастье мне не по годам,
 было счастье сделано из хлопка,
 было счастье с лейблами, и там
 был Титов, Аленичев, Онопко.

Счастьем было видеть, как Спартак
 победил красиво в Амстердаме,
 но продул в Италии, и так
 это счастье выдохлось с годами.
 Было счастьем выучиться там,
 где отец учился, что понятно,
 все идут по чьим-нибудь стопам
 и не возвращаются обратно.

Было счастьем бросить все дела
 и уехать в поезде осеннем
 из того домашнего тепла,
 что дарила жизнь по воскресеньям.

В будни было тоже хорошо,
 жареную кушали картошку,
 пили чай из блюдец с большой
 булкой с маслом, сидя у окошка.

И смотрели грустное кино,
 потому что не было другого,
 то есть было, только всё равно
 из него не помню я ни слова.

Дмитрий Щедривый

Кружок экзистенциального воя

Рассказ

Дом Мити внезапно вырос в поле зрения направляющегося туда Коли Радостина. Сам же Митя стоял у подъезда, прячась под бетонным козырьком от едва заметной мороси, и курил — его слегка сторбленную спину в чёрном пальто шестилетней давности не узнать было трудно. Увидев товарища, он улыбнулся — улыбку, правда, перекрывала невыразимая серая тоска, которую, казалось, уже невозможно было стереть с глаз в силу её окостенения.

— Привет, Митяй! — произнёс Коля с какой-то даже вычурной радостью, которая словно бы зеркально отражала семантическое содержание, заложенное в его фамилии.

— Радостин. Сколько лет, сколько зим?.. — ответил Митя, оценивая немного повзрослевшее лицо своего друга из прошлого и протягивая руку.

— Много зим. Пойдём? — кивнул Коля в сторону подъезда, делая шаг. — Недооценил наш старый добрый морской город и немного подмёрз уже, — добавил он, поясняя свою лёгкую внешнюю суетливость.

— Докурю, — односложно произнёс Митя, рассматривая товарища, стоящего в неказистом жёлтом дождевике с белым пакетом-майкой.

— Ладно, докури. — Коля смиренно вздохнул, жадно посмотрев на тлеющую сигарету и переведя взгляд на небо.

Промозгло, сыро, ужасно мерзко и в неисчерпаемой мере туманно — то, чем характеризовался практически любой, за некоторыми исключениями, день первой половины лета во Владивостоке. Коля задумался:

— Знаешь, Митя, я вот вроде почти всю жизнь здесь прожил, а всё равно этому лету удивляюсь. Каждый раз как в первый. Кажется, что попросту невозможно привыкнуть, что до середины июля здесь подобие бесконечного раннего апреля.

— А в Москве получше будет? — поинтересовался Митя.

— Да не особо понятно. А сам как думаешь?

— Не я же там живу, чтобы об этом думать, — недоумевающе парировал Митя.

— И всё-таки даже в этой всепоглощающей серости можно разглядеть что-то определённо красивое, — продолжил Коля, забравшись на бордюр и принявшись балансировать, чтобы скрасить ожидание.

Щедривый Дмитрий Сергеевич родился в 1999 году во Владивостоке. Учился в ДВФУ по специальности «Психология».

Это первая публикация автора.

— Да я тебя умоляю, — пренебрежительно отозвался Митя. — Тошнит уже от неё. Резкий порыв ветра выбил балансирующего Колю из равновесия, тот спрыгнул на асфальт, и в пакете звонко отозвалось стекло.

— «Финляндия»? — уточнил Митя, кивнув на пакет.

— Лучше. «Свобода», — ответил Коля.

— Нормально, — подытожил Митя, отправив окурок метким движением пальцев в полёт в неизвестность и развернувшись к входной двери. — Пошли.

Подъезд утопал в сырости и лужах не меньше двора. Митя смиренно перепрыгивал с одного островка суши на другой, совершенно не обращая внимания на факт превращения этого самого подъезда в улицу.

За открывшейся обшарпанной неухоженной дверью предстал характерный вид холостяцкого убежища, хотя, конечно, всё могло быть хуже, как показалось Коле. Но он озадачился другим вопросом: почему это стало квартирой холостяка, когда ещё совсем недавно — три года назад — из двери с приветствиями сразу же выпорхнула бы Ирка?

С неудобными вопросами решено было повременить.

Немного затхлый запах, явное понимание, что полы моются от силы раз в месяц, примерно недельной давности посуда в раковине, неубранная постель — всё было «как надо». Но справедливости ради Коля не сосредотачивался только на негативе Митино бытия, отметив для себя чистый кухонный стол с тремя стульями, который, как и три года назад, оставался всё таким же гостевым, нежели семейным.

— Сюда и клади, — сказал Митя, кивнув на этот самый стол. — Секунду, хоть приберусь чуть.

«Похвально», — подумалось Коле.

— А вообще, ты бы хоть заранее позвонил и сказал, что прилетаешь. Ну, приезжаешь. Оба варианта, в общем, ты понял. А то ж с самого утра-то... — замялся Митя, вешая пальто. — Я бы и сам чего прикупил, а так только проснулся, считай, да покурить успел.

— Я тебя умоляю, — передразнил Коля, глядя на часы и ставя пакет на стол. — Два часа дня. Небось, ещё полдня в кровати валялся, как обычно втыкая в телефон?

— Ну, было дело, было. Но не полдня, встал я в одиннадцать. — Митя нахмурил брови. — Да и вообще, а кто так не делает?

— Я, — уверенно ответил Коля. — Я так не делаю. Но не нотации же читать приехал, правильно? Хотя и их тоже, но это потом. Лучше расскажи, как оно? Как и...дут дела? — вопрос, касающийся Ирки, слишком ярко вертелся на языке, будто бы имея собственную волю и желая соскочить самостоятельно вне осознанного решения хозяина этого самого языка; впрочем, Коля быстро осёкся.

— Да ты подожди с этим. Давай сперва красоту наведём, — ответил Митя, достав скатерть, убив в каком-то смысле неординарностью поступка. — Сколько «Свободы» взял? — спросил он, приводя место будущей трапезы в окончательный вид.

— Три по ноль пять.

— А мы не треснем? — удивился Митя.

— Не треснем. У нас целый день впереди, — сказал Коля, растягивая лицо в широкой улыбке.

Пока Митя неспешно отдраивал квартиру — что, впрочем, характерно для большинства людей: убираться перед приходом гостей или непосредственно тогда,

когда они уже пришли, вместо планомерной уборки хотя бы раз в пару дней, — Коля перетекал с одного места на другое, любуясь обнаруженными памятками прошлого. Взять, например, треснутое зеркало в ванной, находящееся в этом состоянии четыре года: Коля прекрасно помнит, как они всей компанией — он, Митя, Ирка и Серёга — «нажрались по самое не хочу», призывая смысл жизни в два часа ночи — стоя на крохотном балконе, орал в небо настолько рьяно — и настолько поздно, — что приходили из полиции и «вежливо» предупреждали о «недопустимости нарушения общественного порядка». Серёга отвечал: «То есть, товарищ участковый, искать и спрашивать, где этот самый смысл жизни, — это, и правда, нарушение общественного порядка?» А потом он сам долго-долго смотрел в свои отражавшиеся в зеркале глаза, примкнув почти лбом, и спрашивал себя: «Где он? Здесь нет!» — крикнул и с усилием въехал головой в стекло.

Закончив с порядком, Митя сел за стол и расставил рюмки. Коля молча глядел на него, отмечая определённую «домашность» наряда: трикотажные серые штаны и чёрная футболка со стилизованным изображением Волчка; всё это скрашивалось такой же, как и раньше, взъерошенной, скрывающей уши копной волос. Митя аналогично рассматривал товарища, но никак не мог ухватиться за что-то конкретное: казалось, что тот весь был излишне неопределённым в своём внешнем выражении, не считая глаз.

— Ты вот коришь меня за полдня в кровати, а сам-то что? — начал Митя.

— А что со мной не так? — недоумевающе ответил Коля, ёрзая на стуле.

— Ты глаза свои видел? Ты когда последний раз спал нормально?

— А, да это мелочь. Работа же, перелёт, часовые пояса — вот это всё... — как бы сводя с темы, ответил Коля.

— Всё там же работаешь? — спросил Митя, разливая первые классические «пятьдесят» и пододвигая тарелку с сыром и докторской, которые любезно оказались в холодильнике, будто бы ожидая этого часа. — Оно и видно. Эти три бутылки «Свободы» стоят треть моей зарплаты, я бы на такое не пошёл.

— Ага. Там же, — ответил Коля, нежно подбирая пальцами рюмку, будто бы это не просто «Свобода», а белое золото. — Ну, за встречу!

— За встречу, — приглушённо произнёс Митя, залпом проглотив огненную воду. — Но ты мне лучше скажи: ты зачем приехал-то? Вот чтобы по-честному было. Ещё сегодня с утра я не помнил о твоём существовании, а сейчас ты уже сидишь — почему-то! — здесь, на задрипанных дворах Баляйки, а не в Москве. Давай как есть.

— А никак нету. Отпуск у меня, спонтанно решил проведать старых друзей: тебя, к Серёге ещё думал заскочить.

— Почему меня первого? — доставая новомодную электронную систему доставки никотина, спросил Митя.

— Как раз таки потому, что смотрю за тобой в сетях. И за Серёгой бы смотрел, да он же вечно в своих «цифровых детоксах» сидит, не постит ничего, не заходит месяцами. Или годами, как сейчас. Короче, я решил, что тебе срочно нужен хороший разговор.

— Хороший разговор? — удивился Митя.

— В зеркало глянь. В себя всмотрись. Мои мёртвые глаза — это просто работа, мелочь в сравнении с тем бардаком, что ты устроил у себя в голове, в сравнении с тем, что ты пишешь, выкладываешь. Мне казалось, что мы это оставили там же, где и весь

наш странный досуг, — за стенами института, — завершил Коля, потянувшись за пачкой «Милдака».

— Руки, — опередил Митя, перехватывая сигареты. — Бросил же. Сам сказал: «оставили там, где и весь наш странный досуг», — грозно завершил он.

— Да я так, чисто третий курс и молодость вспомнить, не кошмарь, — стушевался Коля.

— Получается, что я всем своим образом жизни эту самую молодость ежедневно вспоминаю?

— Ладно, убедил, — Коля откинулся на спинку кухонного стула. — Но вообще: судя по тому, что ты до сих пор не снял плакат нашего клуба со стены над диваном, молодость тебя явно не отпускает.

Митя перевёл взгляд на тот самый плакат — ему даже на секунду показалось, что он не видел этот раритет уже лет этак десять. Чёрная — вернее, уже серая в силу выгорания — ткань уныло свисала, небрежно приклеенная двусторонним скотчем к стене, и не менее уныло гласила:

КРУЖОК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЯ.

— Ты сюда прошлое повспоминать приехал или поговорить о настоящем? — недовольно буркнул Митя.

— Да всё твоё настоящее — одно сплошное прошлое. Ты же сам это только что заметил, — ответил Коля.

Митя промолчал — поспорить тут не с чем. Последние два года он не вспоминал весь тот ворох событий, который так или иначе составлял основной эмоциональный костяк его жизни; ныне же происходило простое, плавное затухание в никуда. А если не вспоминать былое, то порой кажется, что не только в никуда, но и из ниоткуда.

— Это ты верно решил, что меня надо бы первого навестить. Биринёва, я так полагаю, ты бы тоже хотел сюрпризом удивить, да вот только он теперь на Шепеткова развлекается уже пару лет, — Митя резко перевёл тему со своей персоны, интенсивно выдохнув клуб дыма.

— Интересно, — удивился Коля. — А зачем?

— На экскурсию прилёт, надо понимать, — саркастично произнёс Митя, разводя руками. — Радостин, вопросы твои... по какой причине, по-твоему, люди могут отдыхать на Шепетухе два года? Поехал он. Окончательно и бесповоротно.

— Это-то понятно, что поехал. От Серёги ожидаемо было. Я, скорее, другое имел в виду: по какой причине, — уточнил Коля.

— Да по какой... это мы — так, мелочь, а он же настоящим философом был — ну, оно и понятно, иначе бы «экзистенциального воя» не существовало, и нас в нём тоже. Через год после выпускного возымел некие «философские трения» со своими соседями и устроил им — ну, как минимум одному — настоящую мясорубку. Буквально. И с перфоратором, и с молотком. Не вникай, я даже вспоминать не хочу. Лежит то ли с манией бреда, то ли с параноидной шизофренией, я уже не вспомню, — и лежать, вероятно, будет долго, если не пожизненно.

— Красавчик Серёга. Зашибись развлекается. Просто замечательно, — подытожил Коля. — Ладно, всё равно зайду к нему.

— И каким образом? Мне не помнится, чтобы они там принимали гостей. Хотя, может, оно и иначе, конечно, — сказал Митя.

Георгий Панкратов

Кризис первого курса

Петербургские студенческие рассказы

Хорватия

Она зевнула и повернулась ко мне.

— Ну всё, с меня хватит. Ну не могу я читать такую мерзость, особенно по утрам.

С утра читаешься, потом весь день в депрессии ходишь.

Встала со своей кровати, подошла к моей:

— Ну, как спалось?

— Да никак.

— Вот теперь ты похож на себя, — улыбнулась и протянула лист. — Держи свою похабщину.

— Это не похабщина, — студент первого курса, я судорожно пытался придумать что-то умное, — а пласт подлинной философии.

— Пласт несмытого говна, — она пошла на кухню. — Суп?

— Суп, — устало вздохнул я.

Хотелось ещё полежать, но подъём был неизбежен — дела. Оставалось минут двадцать, чтобы поесть и разойтись. Чтобы опять долгое время не общаться, чтобы успеть соскучиться по этим тёплым, влажным, будто бы вечно чем-то удивлённым, большим и нежным, а главное — добрым, бесконечно добрым, бесконечно светлым, бесконечно прекрасным, бесконечно глубоким, бездонным, сияющим Истинным Блеском Жизни, Силой Мудрости Счастья, Бесконечностью Трепетного Сердца, Алым Рубином Радости, Испепеляющим Трепетом Блаженства, Хрустальными Ручьями Гармонии, Кристальными Слезами Искренности, чистым, чистым, чистым глазам — Зеркалом Вселенского Величия, Зеркалом Космоса Душ, Зеркалом ТОЙ силы, Зеркалом ТОГО мира, Зеркалом ТОЙ реальности.

— Вставай, готово, — услышал я.

Какая прелесть! Я встал, оделся и направился на кухню, где ополоснул лицо холодной водой.

Панкратов Георгий Витальевич родился в Ленинграде в 1984 году. Окончил гуманитарный факультет СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал» и др. Автор книг «Российское время» (СПб., 2019), «Мечта о прекрасном, несбыточном» (М., 2020). Проживает в Севастополе и Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

— Бррр, — передёрнуло меня.

Она отдёрнула занавески на окне, в маленькую кухню мягко влился сонный луч света и растёкся по стенам. Неожиданно она повернулась ко мне, и луч осветил её прелестное личико — не то чтобы оно было красивым, оно было просто божественным.

— Парадокс, — усмехнулся я.

— Чего? — она наклонила голову, как делала всегда, изображая непонимание.

— Ничего, — ответил я, вытираясь полотенцем.

Она присела и улыбнулась, мечтательно протянула:

— Прекра-а-асно.

— Что прекрасно? — теперь уже не понял я. Отложив полотенце, я выставил табурет из-под небольшого кухонного стола и попробовал суп.

— Жить, — снова улыбнулась она. — Вот что прекрасно.

— Согласен, — пробормотал я, пережёвывая хлеб.

— Ещё бы ты не был согласен.

— К чему это ты?

— Так.

Я плюхнул ложку сметаны в тарелку.

— Мы иногда не понимаем друг друга. Все мы разные, да. Но я не хочу, чтобы ты это, как, ну, это...

Она взглянула на меня с удивлением. Я понимал, что эту фразу нужно сказать как можно увереннее, и именно от этого осознания она получалась какой угодно, но только не уверенной.

— Я п... Я просто хочу, чтобы ты знала, что моя м... ну, эта дружба, ну, в общем, я х... хочу, чтобы ты это знала, я г..., я готов помочь тебе, если смогу, спасибо тебе.

— За что?

— Ну, так это. За всё, — я неловко улыбнулся.

А за окном стало ещё больше света, и он новыми и новыми порциями вливался, втекал в кухню, даря жизнь, даря Ей — себя. Ведь Она была — свет.

По улице мы шли молча. Я не знал не только, *что* могу или имею право сказать ей, но даже и *что* именно хочу сказать ей. Да и она молчала. «Какой же я дурак и сволочь, — думал я. — Хотя бы вымыл посуду. Или, не знаю...»

Думая всё это, я случайно наступил в глубокую лужу и забрызгал её брюки. Не сильно, но заметно.

— Прости, — тоскливо и глупо сказал я.

Она промолчала. Может, не слышала? Может, не хотела? Я снова заговорил:

— Послушай! А как ты смотришь на то, чтобы сходить посмотреть на кинематографическую продукцию современности?

— Не знаю, — она вздохнула и напела какую-то мелодию. — Ещё эти экономические курсы. Да и вообще, знаешь, больше люблю театр.

— Театр — тоже нормально. «Вишнёвый сад» я бы посмотрел.

— Я современный люблю.

— Что может быть современнее «Вишнёвого сада»? — я попытался сострить.

— Для меня главное, нравится мне или нет, а не классика там — не классика.

— Хорватия. Хорватия!

— Что ты там бормочешь? — усмехнулась она. — Какая Хорватия?

Я уставился на неё тупым взглядом. Мне было уже не до смеха. Приступ снова начинался — он подкатывал к горлу и чесал его изнутри сотней маленьких язычков.

И я снова бессмысленно шептал:

— Хорватия. Хорватия!

Мне уже нечего было сказать ей. Нужно было бежать. Пытаясь улыбнуться, но уже корчась от боли, я помахал ей рукой и кинулся во дворы — наугад. Но сил не хватало, приступ скручивал, рвал изнутри.

— Хорватия! Хорватия! — уже всю ораю, а не бормочу я.

Мимо прошёл мужик в спортивном костюме и покрутил пальцем у виска. Я рыдал — слёзы боли и отчаяния стекались к подбородку и срывались вниз, отправляясь в свой последний губительный путь.

Забежав в какую-то арку, я рухнул на землю. Каждое движение причиняло адскую боль.

— Хорватия! Хорватия!

Я готовился. Приступ уже накрывал меня. Я обречён был отдаться ему в этом васьковском колодце. Подняв глаза к квадрату неба, зиявшему надо мной, я широко открыл рот и издал дикий вопль:

— За-а-а-агре-е-е-е-б! — и потерял сознание.

Звук завибрировал в стенах колодца и, отскочив упругим мячиком от стен, воспарил к небу, оставив меня умирать.

Восемнадцатый раз в моей жизни на этой планете Земля.

Очнувшись я часа через три в своей собственной блевотине, в том самом дворе-колодце.

— Я снова жив, — улыбнулся себе и квадрату неба. Медленно попытался встать. Слава Судьбе, это получилось. Шатаюсь, я дошёл до скамейки.

Минут пять мои мысли принимали упорядоченную структуру. Наконец, я понял:

1. Сегодня — в Шеньгуа;
2. Я обделался перед ней по полной;
3. Чертовски хочу в сортир.

Устало вздохнув, я достал из кармана брюк носовой платок и принялся вытирать вонючую блевотину с куртки. Раздался звонок. Это мобильный. Я ответил.

— Ты в порядке?

Это была она.

— Да.

— Ну и отлично. Удачи тебе!

Конец связи. Зачем звонила? Она что, переживает за меня?

Пошёл дождь. Я встал и тоже пошёл — в сторону улицы. В этих дворах точно не могло быть сортира.

А ведь нужно было сказать ей спасибо.

Это же вечный двигатель моего чистого, светлого и отчаянного чувства.

1. Я в поисках места, которое можно использовать как сортир. Удивительно: все мои мысли — ВСЕ! — работают лишь в одном направлении: где бы найти такое место? И пока я не решу этот вопрос, все остальные для меня не будут иметь значения. Вот главное в жизни — сортир! Сортир! Найти сортир! *Что там любовь? Что деньги? Книжки? Сортир* — вот что главное в жизни. Ведь когда я там, то не думаю ни о любви, ни о деньгах, ни о книгах.

2. Сегодня праздник. Может, кто-то над ним смеётся, кто-то его ждёт, кто-то любит, кто-то к нему равнодушен. Но так или иначе все имеют к нему отношение. Кроме меня, кроме меня, кроме меня. Но теперь я об этом не печалюсь, я знаю — см. п.1, см.п.1, см.п.1.

Анна Арнаутова

ЗЕМЛЯ

Рассказ

— «Зосимова пустынь». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка «Нара».

Отсюда ехать немногим более получаса. Пахнет грозой и электричкой: потом, деревом, перегаром. Створка окна опасно хлопает, свет моргает, потом гаснет совсем, и она оказывается посреди влажного полумрака.

Молния — неоновый жёлтый отблеск мгновенно подсвечивает лицо старушки напротив, и кажется, что её бледные зрачки обращены куда-то внутрь. Июнь — доцветают яблони, и их лепестки прилипают к стеклу. Венозно-голубоватые линии на белой шёлковой ткани слишком похожи на кожу.

Она выходит в тамбур — в открытую створку двери прорывается большой ветер. Холодно. Дачные домики, длинные серые пятиэтажки. Окна светятся жёлтым, розовым и зелёным. А сейчас бы сорваться туда, прямо на ходу, в пыльное зелёное цветение, в тёмную воду. Покатиться по насыпи сквозь тугий праздничный шиповник, сквозь хрустящую прибрежную осоку. Лицом в небо, потом — в мягкий донный ил. Лягушачья икра в волосах, стрекозы личинки во рту, в мягком розовом нёбе. Сделаться землёй, слизью, тканью — лишь бы не возвращаться.

Потом она сидит внутри пустого, ярко освещённого вокзала, тревожно переглядывается с билетной кассиршей и пытается вспомнить бабушку. А из памяти поднимаются только запах старых книг и пыли, дом, в котором в заварочном чайнике тонут тараканы, а Библия стоит на полке рядом с «Капиталом». Это всё досталось ей по наследству — так вместе с родительской квартирой переходят долги по коммуналке. Бабушка, тараканы, стеклянные рамы, скрипучий тёмный вяз за окном. Мокрицы в белом ящике стола, сервиз из ГДР. Старость, смерть. Уезжая отсюда в прошлый раз, она так и подумала: мама напишет мне, только если кто-нибудь будет умирать.

Город спит в весенней пахучей темноте, — дождь перестал, и между деревьями с тяжёлым жужжанием снуют майские жуки. Один из них врезается в оконное стекло и падает, и она вспоминает, как в детстве, когда она ещё в школу не ходила, они с папой ловили жуков. Он тряс молодые берёзки, а она подбирала жуков и подносила к уху.

Анна Арнаутова (Людмила Жуковская) родилась и выросла в Калужской области. Печаталась в двуязычном альманахе «На перекрёстке культур» и в Литературном сборнике РГГУ. Работает в жанре автофикшн.

Твёрдая спинка, нежные усики — жуки расправляют их веером, когда хотят улететь. По серому деревянному порогу бегают паук-косиножка. Не бойся, доченька, не укусит. В роще за домом живут сороки: мама-сорока, папа-сорока и дочка тоже. Крапиву, прежде чем пройти, нужно палкой согнуть, рыба лучше всего на рассвете клюёт, а жук-скарабей разжимает кулак, если зажать его внутри, — сама попробуй. Папа, папочка — светлое грустное лицо, он выходит из алтаря, и от него так странно и знакомо пахнет ладаном: она смотрит на него из толпы и знает, что вот это он, её папа, и становится так тепло и смешно, и хочется рассказать всем об этом. И он же — в её неполные шестнадцать, лицо его, постаревшее, искажённое гневом: «А я считаю, что вас таких убивать надо. Ладно, если мужик: он больной, его лечат. Но ты же женщина, тебе ничего не нужно, чтобы ребёнка сделать. Просто потерпи. А женщин-извращенцев, я вот тебе повторю, надо убивать!»

Надо убивать. Алтарь, церковные свечи, «Миром Господу помолимся...». Елеопомазание, сладкий пахучий хлеб. Отец работал инженером на секретном советском заводе, прежде чем началась перестройка — давно, ещё до её рождения. А потом пришел к вере — она вспоминает, с каким отчаянным жаром он всегда говорил об этом, и в затылке зарождается неприятное, тёмное чувство.

Его машина стоит у привокзальной площади — он ждёт. Она прислоняется к окну, считает до десяти, пропускает одну из цифр, долго ищет её в сумерках памяти. Потом решается и выходит:

— Привет.

Отец постарел, но в машине пахнет так же, как в детстве. Они едут сквозь город — улицы, каждая из них гнётся под грузом памяти, как старый мост: поют опоры, и кажется, что всё это вот-вот рухнет в тёмную воду.

Вот здесь была их школа: за поворотом, не у дороги. На этой же самой машине отец подвозил её к первому уроку. Школу от шоссе отделял один дом, и она до сих пор помнит, как прижималась к его холодной стене под чьим-то балконом, ожидая, пока папа уедет, а потом оттирала от одежды побелку и шла в противоположную сторону. Условное место, старые качели, вокруг бетонная дорожка, сквозь неё прорастают горькие одуванчики. Место встречи, ворота заповедного мира. Потом дальше — лес, посёлок Мирный, деревянные многоквартирные дома. Вдоль берёз и елей — к твоему дому, под окном ждать, пока ты проснёшься, залезать на дуб, прятаться в его ветвях.

Уезжая отсюда в прошлый раз, она старалась запомнить каждый облупившийся указатель, каждую потухшую букву в вывесках продуктовых магазинов. Она думала тогда, что больше не вернётся. Пока предки не умрут, но город без них потеряет половину души, — как будто закроются все его церкви, прокаты дисков и автозаправки. А вот теперь она здесь.

Дорога поворачивает — новая часть города, ещё чуть-чуть и недалеко. Она сидит на переднем сиденье рядом с отцом и подробно разглядывает его лицо: глубокие тёмные морщины на лбу, острые складки вокруг рта. Нелегко им с мамой пришлось: та школа на другом конце города стала для неё шестой по счёту за восемь лет учёбы. Когда с твоей дочерью что-то не так, молитвы, кажется, не помогают — во всяком случае, они до сих пор не помогли.

— Ты живёшь одна?

Она улыбается. Ответить — как разгрызть лимонное зёрнышко. Почему он спрашивает об этом? Неужто соскучился? Хочет принять блудное дитя назад?

— Сейчас — да.

Она не всегда спит одна, это да, а живёт одна — пусть даже в комнате кроме неё ещё два человека. Одна сидит на подоконнике, одна бродит вдоль прудов в Сокольниках, опускает ладонь в воду, ловит утонувшие листья. Одна плачет.

Они входят в дом в темноте, но от цветущей сливы напротив окна в комнате светло, как от снега. Она входит, бросает рюкзак, забирается под одеяло в одной футболке. Простыня холодная и пахнет пылью.

Снится всякий бред, старые сны мешаются с новыми. Она просыпается резко и долго лежит, тяжело вдыхая пересохшим горлом: хочется пить, а на неё напал детский знакомый страх. Слюна загустела, кажется, горло вот-вот слипнется. Унимается дождь, часа в четыре уже совсем светло. В каждой комнате прикроватные будильники тикают чуть по-своему: один звук отражается в другом, как будто у дома в лёгких шумы и хрипы.

За завтраком ей достаётся место на углу стола. Мама сидит под иконами, кожа её как светлое срезанное дерево. Вокруг рта жестокие морщинки. Она закрывает глаза и плачет. И губы её сейчас и всегда произносят одно только слово: «Позор».

«Зачем мне тогда жить?» — так она спрашивала тогда, восемь лет назад, когда всё раскрылось, и что было ответить ей? Смутно неправильным казалось, что её жизнь может так отчаянно меняться от того, с кем встречается её дочь — с девочками или с мальчиками. И хотелось врасти в стену, раствориться в пространстве, — я живу на свете полтора десятка лет, почему я несю на плечах все грехи мира, почему твоё счастье стоит моего, почему, почему?..

Но сейчас мать молчит, и это «позор» только угадывается в том, как именно замер её рот. Жестокая, отчаянная насмешка. Разрушение. Глухая стена. Хочется кричать.

Потом её везут к бабушке в диспансер. Пандемия, в корпус не пускают никого, кроме родных. Бурная зелень, старый город — его строили пленные немецкие рабочие и инженеры. Дома маленькие, украшенные, в них высокие потолки и холодные стеклянные окна. Здесь край света. Дальше только река. Окраина. У дежурной усталый вид и хриплый голос — то ли курила, то ли кричала. Их пропускают по паспортам, и она входит в палату к бабушке — та спит. Тяжёлый инсульт. Говорят, она больше не встанет.

Она подходит к бабушке, останавливается над ней. Смотрит в лицо и ничего не чувствует. Эта женщина была её в детстве скакалкой, её панамка была жёсткой от крахмала, она говорила резко и называла мужчин «мужиками». Готовила пирог, рассказывала истории. Теперь она лежит здесь, и её следует жалеть, оплакивать. А слёз нет — только отстранённое любопытство: как она чувствует себя там, внутри? Помнит ли она себя сама? Знает ли, что умирает?

Бабушка приоткрывает глаза — они тёмные. Моргает на свет, с трудом поднимает руку и жалобно, хрипло зовёт:

— Мама, мамочка!

Тишина — папа хмурится. Ему, наверное, тяжело видеть свою мать такой, а может, он просто изображает приличия ради. Бабушка оглядывается, ищет на потолке чьё-то лицо:

— Мама, мама, купи мне пирожок!

Тишина. Она зовёт снова:

— Мама, где ты? Ты меня слышишь? Ты здесь?

Подошедшая медсестра шепчет матери, что сейчас бабушка начнёт плакать: на неё иногда находит.

Игорь Малышев

Порядок и вселенский кавардак

* * *

Ничто не заставит меня молчать,
Ничто не заставит меня заплакать,
Только твоя, моя родина,
Снегириная память.

Ничто не заставит меня упасть
С простреленной влёт головою.
Только твоя, моя родина,
Журавлиная воля.

Так не обжигает солнце,
И не спасает подорожника лист,
Как твоя, моя родная,
Соловьиная ненависть.

Ничто не поднимет меня из мёртвых,
Не воссоздаст из сухой кости,
Кроме твоей, моя маленькая,
Жавороночьей радости.

* * *

Заря встаёт над летним черноземьем.
В полях усталым зверем спит комбайн.
На травах, скатах, стёклах сплошь роса.
Всё радость краткая и вечное терпенье.

Истаивает сахаром луна,
Чай допивает комбайнёр небритый.
Не пели гимн, и, значит, «Рио-Риту»,
Пока не включат. Или не включат.

Малышев Игорь Александрович — прозаик, драматург, поэт. Родился в 1972 году в Приморском крае. Получил высшее техническое образование. Работает инженером на атомном предприятии. Автор восьми книг прозы и ряда пьес. Финалист многих литературных премий. Живёт в Ногинске.

В туманных пролесях волчица спит, волчат
Теплом боков и брюха согревая,
Над горизонтом рябь дроздовой стаи.
Лист поднимают выростки опят.

Карась идёт на нерест, и рыбак
Его поймает тонкой нити сеткой.
Лес тянет в небо тонкоручье веток.
Порядок и вселенский кавардак.

Охотники, проснувшись, ищут твердь
Бутылки и в ней жидкость русской водки.
Благословите водку, рыбы, волки,
Вам без неё немногим уцелеть.

Последняя на полотне звезда
Небесном растворяется в рассвете,
Нежно-лиловом родниковом цвете,
На тонкой коже палого листа.

* * *

Невидимые ангелы в ночи
Колёса неба медленно вращали.
Венки из трав бесцветных и сухих
Их головы седые увенчали.

Скрипели оси, зуб за зуб цеплял.
Планеты шли, трудились херувимы.
Поэты-пьяницы искали свой причал,
И спутники брели как пилигримы.

Неумолчный полуночный хорал
Кузнечиков и в поле коростелей
Всю ночь осанну миру возглашал.
Созвездья над пустотами горели.

Блестела ручка ворота, упал
Пот ангельский в траву ночной росой.
Поэты-пьяницы без дома и угла,
Найдя ночлег, всё ж не нашли покоя.

* * *

День уходил в закат. Ночные песни
Вставали над темнеющей землёй.
Крик ворона и козодоя вой
Пугали в засыпающей деревне
Детей, глядящих в окон темноту
И сказки вспоминающих о мёртвых,
Что бродят между трав, от жара блёклых,
И горе на плечах сухих несут.
День уходил в закат. И дети знали,
Что смерть близка, как матери рука,
И грань стекла оконного тонка,
И выдержит напора тьмы едва ли.

* * *

Сяду в поезд, громыхает
Он на стыках и на рельсах.
До свиданья. Я уехал.
Пусть дорожка зарастает.

Сяду в поезд и закину
Чемодан на третью полку.
За окном мелькают ёлки,
Да играет небо синим.

Сяду в поезд. Сердце встанет.
Проводница даст нам чая.
Вечер цвета молочая
Всем поможет, всё исправит.

Сяду в поезд и исчезну
Я в стакане с чёрным чаем,
Вечер небо освещает
Восхищённо-бесполезно.

Встанет поезд, распахнётся
Дверца в тамбуре вагона.
Проводница скажет сонно:
«До свиданья». Улыбнётся

И захлопнет тёплой лапой
Двери спящего вагона.
Это место мне знакомо.
Здесь родились мама с папой.

Ждёт меня под клёном лошадь,
Ждёт телега. Дед беззубый
Меня в щёки расцелует:
«Ждуть тебя здесь. Любят. Помнят».

И качнётся чёрный ящик
Неба чёрного над нами.
И не разглядеть глазами,
Кто здесь дед, а кто здесь мальчик.

* * *

Взгляд выцветший, сухой.
Так смотрят камни
И статуи безглазые богов.
И вечность, ты к которой не готов,
Но подражаешь
И в глазницах копишь камень.

Александр Моцар

Два рассказа на тему

Лев и Мясоноев

Лев Мясоноев неожиданно для себя прервал пение Символа веры, сплюнул на пол и, громко объявив: «Херня всё это», — вышел из храма. Этот истеричный надрыв не был итогом глубоких и мучительных размышлений. Всё произошло в объёме нескольких секунд. Вот он пел, подтверждая свою веру фальшивым баритоном, и всё — обрыв, пустота.

Мясоноев тупо огляделся — двор недостроенной церкви, стена шлакоблока и лай сторожевой дворняги. Грубо посмотрев на собаку, Лев испуганно подумал: «Вот если бы она меня укусила, тогда бы можно было её убить». Собака спряталась в будку. Мясоноев не выдержал истошного напряжения и неожиданно и злобно укусил сам себя за руку. Заскулив от боли и топнув ногой, он подумал: «Вот до чего религиозное мракобесие доводит». Мысль оборвалась равнодушием. Мясоноев потерянно прошёл мимо пса к церковной калитке. Там он по привычке остановился, чтобы перекреститься на купола, но вспомнив о своём прозрении, вместо крестного знамения показал крестам дулю. Эта хамская демонстрация встревожила Мясоноева и, попытавшись осмыслить произошедшее, Лев спрятал кукиш в карман, но...

Стоп. Давайте остановимся на этом эпизоде. И прежде всего разберёмся, кому показал кукиш Мясоноев. Итак, в его представлении это были не Создатель и не Церковь, которые он уже не ощущал как объект веры или отрицания, это было что-то иное, то, что... Нет, не так, иное это что-то, но Мясоноев выразился кукишем в ничто. Перед ним, в его осмысленной реальности, возникло пустое место, не бездна, не пропасть, а именно пустое место, в центре которого лежала груда камней, увенчанная позолоченным крестом.

«Что за идиотизм, — подумал Лев. — Как может в ничто быть что-то? В смысле, как может быть там груда камней и крест? И что значит — там? Там — пустое место, это топоним, а это...» Путешествуя таким образом в пространстве «ничто», Мясоноев тем не менее, хотя и не определился с конструкцией своего нового мира, чётко

Моцар Александр Владимирович — поэт, прозаик. Родился в 1975 году в Чернигове (УССР). Автор многочисленных публикаций в литературной периодике. Автор сборника стихов «Бим и Бом и другие клоуны» (Днепропетровск: Лира, 2013 г.), «Е=М (Механика)» (Киев: Каяла, 2016 г.), романа «Родченко (кошки-мышки)» (Киев: Каяла, 2016 г.), «Простые фокусы, или Смотрите, на ветке сидит попугай» (Киев: Каяла, 2020). Живёт в Киеве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

представлял вектор нового пути. Понимал он его, что называется, душой, т.е. тем, чего в его новой вере у него не было.

На крест села ворона и каркнула, глядя на Льва, заполнив пустоту «ничто» своим присутствием. Мясодоев посмотрел на неё и ясно осознал, что в его пустоте есть всё, кроме Бога.

В долю мгновения пустота перестала быть метафизическим объёмом. Её всю собой объял, насытил, пропитал Лев Мясодоев. Всё видимое и невидимое. Всё то, где ещё недавно обитала тайна, стало Мясодоевым Львом. Он почувствовал эту трансформацию странным образом. Ему казалось, что он разросся до невысказанных пределов и в то же время, продолжая это движение, почувствовал в себе нарастающий, как страх, вопрос: где граница? Очищенное от культа сознание Льва потребовало опоры, стены, потолка. Где это всё? Этот алкающий бытия вопль потянул его в обратную сторону, в бесконечно малые величины. В молекулы, атомы, в иные, ещё неведомые, микроскопические массы. Дальше, дальше, дальше, туда, откуда протоны и нейтроны казались великими мирами, но и там не было границы. Бесконечно малое пространство не упиралось в точку опоры, и от этого было таким же огромным, как и предыдущее гиперсостояние. Страх бездны остановил Мясодоева. «А почему я, собственно, сравниваю Вселенную со своим объёмом?» На этой мысли Лев громко лопнул.

— Мужчина, что вы себе позволяете?! Вы бы детей постеснялись! — услышал он голос рядом с собой.

Перед ним стояла молодая женщина с ребёнком и брезгливо морщилась, пристально на него глядя.

От такого нелепого поворота от метафизики к физиологии Мясодоев только растерянно пробормотал:

— Я это...

— Что вы это? — бранчливо спросила барышня и, не дожидаясь ответа, резко развернувшись, ушла своей дорогой.

Первые сумерки заретушировали её фигуру и фигуру ребёнка нежным, потусторонним полумраком. Вот они остановились возле куста дряхлеющей сирени, и на мгновение эта картина исполнилась высокой одухотворённой красоты. Но мгновение длилось всего лишь мгновение. Видение рассыпалось на сварливое одёргивание матери и пискливые жалобы ребёнка. Остался вопрос: «Действительно, — задумался Мясодоев. — Это я. Вот я. Но что это — я?»

Этот момент также очень важен в нашем рассказе, так как именно сейчас Мясодоев почти полностью забыл свой имманентный опыт трансформации в пространстве. Вернувшись в свои габариты, он виновато смотрел в спины уходящих женщины и ребёнка. Но здесь не зря появилась оговорка «почти». В сознании Льва осталась живая тревога, которая стремительно перерастала в сомнения. «Туда ли я иду?» — сконфуженно размышлял Лев, расхаживая по дорожкам небольшого парка, куда он забрёл незаметно для себя.

Он печально посмотрел вверх. За седыми кронами столетних елей была видна полная луна. Для неё и вековые деревья, и тридцатилетний Мясодоев были одинаково мелкой величиной во времени. В расстройстве Лев отвёл взгляд от светила, сел на лавочку и отвлечённо посмотрел на забытый детский мячик. Здесь он остро почувствовал свою потерянность. Ему захотелось, чтобы его кто-то вывел из этого тупика. Кто-то взрослый... Мысль о Боге опять накрыла его. «Вот если бы...»

«А действительно, что если бы прямо сейчас появился. Что тогда? Тогда с ума можно сойти от страха, — ясно почувствовал Лев. — Как это так: не было, не было Его,

только на картинках и видел, — и вот те раз, — Мясоноев отчего-то вспомнил, как однажды его отец в компании своих подвыпивших друзей застал его за занятием... — Ужас, и не выговоришь. До сих пор стыдно», — пробормотал Лев и покраснел. Он снова ясно увидел испуг отца, громовое молчание его коллег по работе и застольям, а также свой ужас, который, как и тогда, накрыл его сейчас — «Стучаться надо!» — мысленно заревел Лев, вытирая испарину со лба. Прошлые переживания затряслись в нём пароксизмом. — «Что же это такое? Так вот внезапно. Я не хочу, не готов вот так вот, в полный рост. Это как будто голый перед начальником. Нет, хуже. Это вообще за пределами исповеди. Тогда что же? Тогда не смиренно поклониться ему, а на карачках ползать, причём ползать в луже собственных экскрементов и непременно, выгораживая себя, ябедничать на других. Но почему? По легенде, Он добрый, Он всех прощает, — возмутился Мясоноев. — А потому. Инстинкты задавят. Да и легенды о Нём, если присмотреться к содержанию внимательней, не очень-то и добрые. Но и это чушь, не в сказках дело. Природа. Своя природа ближе к телу. Ведь если Он точно есть, то Ему надо подчиниться. Потому что за неподчинение — расстрел, — трусливо ответил себе Лев и добавил: — Зло тогда твоя природа, и вообще не знаю я, как вести себя в Его присутствии». — Находясь в этом мысленном, сбивчивом лабиринте, Мясоноев поднял брошенный детский мячик и растерянно посмотрел на него. Мячик злобно усмехнулся, посмотрев в упор на Льва.

Нет, нет. Это не фантазмагория, не видение, не восставшая порочная реальность. Просто мячик был разрисован фломастером. Кто-то, по-видимому, ребёнок, попытался изобразить на нём лицо. Опыт оказался неудачным. Похабная улыбка, ассиметричные глаза и пятак поросёнка реконструировали физиономию субъекта в неприятной, даже зловещей гримасе.

Глядя в это лицо, Мясоноев грустно подумал: «Нет, это изобразил не ребёнок, это подросток нарисовал. Скорее всего, своего друга, чтобы ногой по морде в ворота или подальше, — и вновь наткнулся на мысль о зле. — Ну хорошо, — вслух сказал он мячу. — Если люди зло называют злом, то они признают в этом явлении природу, безусловно вредящую человеку. Но они в то же время добровольно творят зло, то есть вредят себе, причём часто это делают в упоении, выключая инстинкты самосохранения, главные, определяющие инстинкты. В таком случае не следует ли признать зло природой, которая находится за пределами человека, то есть природой, допущенной извне? Зло — это реакция на зло, неважно, настоящее оно или воображаемое. Важно то, что это противостоящая реакция первому злу. А противостоит злу добро, а значит, зло — это добро».

Лев услышал шаги. Он поднял голову и увидел своего соседа Сашу Моцара. Тот быстро прошёл мимо. Саша явно сделал вид, что не разглядел в сумерках говорящего с мячиком соседа. Это было видно по его отвлечённому, но с насмешливыми полутонами выражению лица.

Моцар и Мясоноев иногда встречались на перекурах. Говорили вяло, на бытовые неинтересные темы. «О большем с Сашей не поговоришь», — думал Мясоноев, грустно глядя в спину уходящему серому пятну. Моцар, в свою очередь, быстро шёл в сторону дома. Чувство голода гнало его в квартиру, к холодильнику и интернету, но всё же разговор соседа с детским мячиком впечатлил его. «Интересные фантазии у Мясоноева, — думал он. — Вот сидит человек, мучается. Жаль, не услышал только, о чём. Впрочем, это не важно. О жратве, наверное. Да, о жратве. Из-за чего же ещё Льву мучиться? У человека все фантазии о жратве в итоге. В метафизическом итоге, конечно. Даже райские кущи представляет он как местность с обильной закуской. Все эти фантазии человека от какой-то глобальной недосказанности. А что в итоге?

Владимир Гуга

В пяти шагах от дома

Рассказы

Чернышевский отдыхает

Инвалидное кресло с завёрнутой в одеяло бледной девочкой толкает мрачный, но бравый мужчина. Чувствуется, что силу ему придаёт безнадежное горе. Такое бывает. Может быть, это — отец девочки, а, может быть, дед. Скорее всего, дед. Впрочем, девочка вполне может быть девушкой и даже женщиной. Из-за болезни возраст её определить невозможно. Видимо, она совсем не может ходить. Или... полностью обездвижена... Она похожа на малолетнюю старушку. Из кулька высовывается только небольшая часть серого лица. Брови и подбородок закрыты. Её постоянно, раз в день, вывозят гулять. Даже в снегопад.

Игорю не раз хотелось подойти к этой девочке-старушке и сказать что-нибудь приветливое. Например: «Погода сегодня прекрасная? Не правда-ли?» Или: «А день-то совсем короткий стал. Это значит, что скоро мы начнём двигаться в сторону весны. Вы Гребенщикова любите?» Или просто сказать: «Здравствуйте!»

Но суровость толкающего дядьки и скорбный вид девочки останавливали.

— Знаешь, — сказал Игорь как-то своей жене Ирине, — я всё-таки познакомлюсь с ней. Потому что нужно, чтобы хоть кто-нибудь поговорил с этой бедолагой. Ну что они вдвоём ходят по району...

Супруга помолчала полминуты и ответила:

— Да? И что же ты ей скажешь?

— Ну... Не знаю... «Как дела? А я вот работаю в известном общественно-политическом журнале, пишу статьи и беру интервью. Недавно, например, взял большое интервью у Зюганова. Однажды чуть было не взял интервью у самого Путина. Телохранители президента меня тогда едва не прибили за журналистскую наглость. А хотите, прочитаю какой-нибудь из своих коротеньких рассказов?»

Владимир Гуга (Гугнин Владимир Александрович) родился в 1972 году в Москве, окончил музыкальное училище им.С.Прокофьева и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор книг «Фаина Раневская. Великая и непредсказуемая» (2016), сборника рассказов «Мама нас точно убьёт» (2019). Печатался в журналах «Урал», «Дружба народов» и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 2.

— Какой молодец! — отозвалась, не оборачиваясь, стоящая у плиты жена. — А ты не боишься, что она в тебя влюбится? Будет думать о тебе, ждать, когда ты снова подойдёшь к ней на улице? Ты её можешь доконать своим вниманием.

— С какой стати? Я далеко не красавец и не молод.

— Вот как? — усмехнулась жена и, наконец, повернула голову. — А ты на секундочку, на мгновение поставь себя на её место. Попробуй.

Игорь попробовал и тяжело задумался: «Что же тогда делать? Что же делать? Что делать? Это не интервью у Зюганова взять. Или у Путина».

Пока думал, закончился локдаун. Игорь перестал гулять около дома. Он совсем перестал гулять: ни капли свободного времени.

Теперь Игорь уходит рано на работу и приходит вечером. Иногда очень поздно. Временами он видит девочку в кресле и её провожатого. В эти мгновения он снова тяжело задумывается, но быстро «отвисает», потому что его стареющей голове постоянно приходится решать целый ворох профессиональных и житейских задач.

Тысяча триста пятьдесят рублей

Василию порекомендовали маститого кардиолога с очень странной фамилией — Самостоп. Сказали, что он — «светило». В кабинете «светила» сидел невысокий, худенький старичок лет восьмидесяти в костюме без галстука. На лацкане пиджака — значок: маленький красный христианский крестик. В облике доктора и в интерьере кабинета ни единого намёка на медицинскую атрибутику: ни белого халата, ни стетоскопа на шее, ни тонометра на столе. В почти пустом помещении не было даже компьютера, без которого нынче не обходится ни один медицинский работник.

Василий обрисовал доктору ситуацию, рассказал, что время от времени его сердце начинает учащённо биться, а порой вообще сбивается с ритма, переходя на какие-то немислимые синкопы. Обычно это происходит после употребления спиртных напитков.

Самостоп выслушал это всё с чуть заметной блаженной улыбкой.

— И как часто вы выпиваете?

— В меру, — ответил Василий и назвал объём раза в три меньше своего реального.

— Многовато... — покачал головой Самостоп. — Это очень серьёзная доза.

— Мы, поэты и писатели, все пьём, — объяснил Василий. — Все творческие работники прикладываются.

— А почему? — спросил доктор.

«Странный дед, — подумал Василий, — очень странный. Хоть бы пульс пощупал».

— Ну, во-первых, как правило, все художники житейски неполноценны. У них отсутствует прагматичная хватка, они рассеянны, не могут удержаться на постоянной работе. Во-вторых, истинно творческая работа довольно сильно изматывает. Поверьте, это — каторжный труд. Хороший рассказ или стихотворение можно выжимать из себя по капле целый год. В-третьих, общение с Богом, извините за высокопарность, подтачивает наши психические и физические силы. Я думаю, что вот это всё в комплексе и заставляет постоянно заглядывать в стакан. Хотя не всех. Есть исключения.

Василий удивился складности своей речи: будто не говорил, а зачитывал доклад с листа. Обычно такое с ним происходило после хорошего возлияния, но сейчас, в кабинете, он был трезв.

Самостоп взял из стопочки маленькую квадратную бумажку и принялся рисовать на ней каракулю.

«Даже интересно, — усмехнулся про себя Василий, — чем же всё *это* закончится?»

— Скажите, а зависть вас порой не гложет? — вдруг спросил старичок. — У меня есть один приятель. Он — отличный, на мой взгляд, поэт. Так вот, он жутко завидует другому поэту. Знаете, кому? Пушкину!

Бледное лицо Самостопа просветлело и оживилось.

— Когда он слышит стихотворение Пушкина или упоминание об Александре Сергеевиче, его зубы начинают скрипеть от злости, повышается давление, частота сердечных сокращений разгоняется до опасных показателей. Вы можете себе представить современного человека, который завидует гению, жившему триста лет назад? Вы бы стали завидовать Пушкину?

— Не стал бы, — ответил Василий, — это всё равно что завидовать Солнцу. Типа: «Ну, почему оно такое яркое, огромное и долгоживущее, а я — маленький, тусклый, и жизнь моя — миг».

Василий понял, что неожиданно увлёкся разговором с доктором. Однако лицо Самостопа вдруг опечалилось. Немного помолчав, он сказал:

— Я бы вам рекомендовал обратиться к психиатру. Могу отправить к отличному специалисту.

— Это ещё зачем? — Василий ощутил, что его накрывает бешенство.

— Вы склонны к депрессии. Поэтому много пьёте. Но лёгкие, совсем безобидные антидепрессанты помогут вам отвлечься от бутылки. Скажите, вы занимаетесь мастурбацией?

«Ах ты, старое чмо, — рявкнул про себя Василий, — нарываешься на неприятности?»

— Ну, чуть-чуть, немного? — пояснил профессор, увидев окаменевшее лицо Василия. — Это же абсолютно нормальное явление. Все люди...

— Мне кажется, — прошипел Василий, — вы немного выходите за рамки своих должностных обязанностей. Я ведь пришёл к вам совсем по другой причине. И заплатил за приём, между прочим, тысячу триста пятьдесят рублей. Это — немало.

— Простите, простите, ради Бога, — засуетился Самостоп. — Вы правы. Но что же мне вам выписать?

Самостоп взял из стопки новый листочек. Ручка в его пальцах начала выводить вензеля над бумажкой, словно профессор хотел нарисовать что-то сложное, но не знал, с чего, с какой детали начать.

— Выпишу-ка я вам аллапинин — двадцать пять миллиграммов, два раза в день. Скажите, а вы верите в Бога?

Доктор посмотрел на пациента совершенно растерянным, беззащитным взглядом. Василий мог бы его ударить тяжёлым ругательством — он это умел, — но напасть на старика оказалось довольно тяжело.

— Верю, — вздохнул Василий. — Но ещё сильнее я верю в ад. Потому что хорошо себе его представляю.

— Такая богобоязненность очень похвальна! — довольно произнёс Самостоп. — Я бы рекомендовал сходить вам в церковь и исповедаться.

— При чём здесь богобоязненность? Просто я отчётливо представляю себе ад. У меня бывали запои, и вот, во сне, во время отходняка, в те часы, когда наступает так называемое похмелье, я несколько раз видел чёрные... чёрные... Не могу это даже описать. Это настолько кошмарно, что...

Арам Пачян

Потому что он меня ждёт

С армянского. Перевод Лилит Меликсетян

До свидания, Птаха

Фрагменты романа

* * *

Закрываешь свой блокнот, обнимаешь Птицу и, приблизив губы к ее голове, шепчешь: ты не видела Саака Бадаляна, моего друга со щеками юного Дюрера и нежным взглядом? — он любил торт и играть на пианино, спал-просыпался-жил с бабочкой на шее, — я нашел его могилу после трех дней поиска, наше-е-е-л, да, Пичуга, я, Шлиман — Генка Шлиман, — тринадцатилетний Дюрер так владел карандашом, что мог бы позавидовать ему и создатель крыла. Саак, от тебя осталась глубокая нежность изумленного и отдаляющегося взгляда, осталась навеки — до и после тебя — в первом автопортрете Дюрера, я боюсь выглядывать из окна своей комнаты, потому что ты всегда стоишь в глубине улицы, с бабочкой на шее, прижимая к себе кролика, — подарок на день рождения от кого-то из дворовых ребят, — бабочка, умирающая во сне на сундуке, с крылышками цвета тени проявилась несколько мгновений назад и увидела окно, стоящую на подоконнике глиняную вазу и сундук с игрушками, который со дня погребения не открывался ни разу, и пыль — завесу с осязательными катышками, светло-серый слой — молча, как снег, тускнеет память, которая каждый раз, когда раскрываются оконные створки, сгущается в сердцевине света — бабочкой, трепещущей в агонии и избывающей силу крыльев — страстное желание жить, мечта вырваться из замкнутого пространства; легкие хотят дышать,

Арам Пачян — прозаик, эссеист. Окончил юридический факультет Ереванского государственного университета, работал в правоохранительных органах. Автор романов, сборников рассказов, лауреат Премии Президента Республики Армения (2010).

Лилит Меликсетян — литературовед, переводчик, зав.кафедрой русской и мировой литературы Российско-Армянского (Славянского) университета. Переводы с армянского на русский публиковались в «Знамени», «Дружбе народов», «Литературной газете», «Литературной Армении», а также издавались отдельными книгами. Награждена медалью им. А.С.Пушкина за вклад в развитие армяно-русских культурных связей.

черный мазут заливает желудочки сердца. Каждый раз, когда я ем куриное сердце, мне кажется — это сердце Саака. Просовываю мизинец в желудочки, вынимаю. Там черная желчь. Со странноватым приятным вкусом. Вызывающим резкое головокружение. Растворилась. Нет ее. От густой черноты игрушки кажутся ярче. А ты хочешь просочиться сквозь щели в оконной раме — очередной детеныш среди других детенышей мира, очередная агония, бьющаяся в пыли. Хотя бы твои светло-синие крылышки не потемнели — твой изумленный взгляд в зеркале. Не удивляйся, тебя никто не помнит. Я всех спрашивал. Стариков и молодежь во дворе. Тебя не было. Ты никогда не играл на пианино и не ел торт в галстук-бабочке.

На опорном пункте, пока я глотал домашнее вино цвета клубники, поглядывая на плывущее по небу облако, и медленно, жалея и смакуя, курил подаренную Кардиналом сигару Montecristo № 4, я думал о тебе, радуясь, что ты рано умер, потому что не случись тебе умереть, попал бы в армию, и там бы покончил с собой. Был бы рабом, ежедневно наводящим блеск на обувь дедов. Два года ты бы бесконечно жарил для них картошку на кухне, был бы личным секретарем, официантом, опорожнителем пепельниц, мальчиком на побегушках, а из-за своего мягкого зада — еще и объектом в постели.

Командир роты избивал бы тебя по каждому поводу, волочил в свою комнату и часами палкой месил бы твое пухлое тело. Принуждал бы тебя к содомии, а ты, не выдержав ударов по спине и голове, наполненной аккордами, подвывая, рассказал бы всё — всю подноготную дедов, выдал бы источники их доходов. Поделится бы их далеко идущими планами и тайными помыслами. А потом ротный плюнул бы тебе в лицо и вышвырнул из комнаты, бросив сидящим за столом дедам, что ты стукач, что все рассказал, что тебя не воспитали как должно, не приучили к побоям, и вот с этой секунды, с этих глумливых слов ротного начался бы твой настоящий ад. За то, что ты проболтался, деда стали бы измываться над тобой самым невероятным образом. Запретили бы питаться в столовке. Ночью, пока ты спал, они бы мочились тебе в лицо обильной струей или приносили с собой мочу в стеклянной таре и выливали на твою постель. Всем запретили бы здороваться с тобой за руку. Стоило бы им увидеть тебя одного на территории части, они бы с улюлюканьем окружали тебя, чтобы тушить зажженные сигареты о твой лоб, твои безволосые руки. Тебе не давали бы мыться в бане. Отнимали бы посылки, присланные из дома. Вытаскивали заложенное между пачками сигарет письмо от матери и сестры и, на глазах разорвав на мелкие кусочки, швыряли бы тебе в лицо. Заставляли бы писать домочадцам ответное письмо, мол, тебе срочно нужны деньги, скажем, сто тысяч драмов. Заставляли бы в душещипательных подробностях расписывать, что у тебя долги, потому что по пути на опорный пункт ты потратился на разные нужные вещи: теплые носки, анальгин, валерьянку, средство от вшей, диски для плеера, — и если до следующей субботы долг не вернешь, то тебе будет совсем паршиво. Наверное, ты бы вообще перестал есть. Не спал бы по ночам. Напряженно ожидая очередного посещения кого-то из дедов. Несколько раз на дню пытался бы сам себя обнадежить, подбодрить, сравнивая свою жизнь с жизнью в роте тех, кому приходилось хуже тебя, но так и не находя никого, кому было бы хуже, точнее, наличие такого парня было бы твоей неосуществимой мечтой, потому что такой парень — это солдат, человек или бывший человек, чтобы прикоснуться к которому или пожать руку, нужно было бы быть Богом или таким же, как он, чистильщиком сортира. Микки Маус. Самая знаменитая мышь. Мышь мышей.

* * *

Задыхаешься. Пытаешься закричать. Твой рот не открывается. Мазут высох, твои губы склеились. Глаза выпадают из глазниц на плитку пола. Капли черной жидкости с треском взрываются в воздухе. Ты вскакиваешь. В блиндаже равнодушное молчание. Свеча выдувает тени. Засовываешь голову под подушку. Саак приходит за тобой. Посмотри, он безязыкий, но идет. Ты помнишь его? Помню.

От Саака всегда пахло швейной машинкой. Летом каждый день из окна квартиры на первом этаже третьего подъезда нашего дома доносилось дребезжание его неровных и бесталанных фортепьянных аккордов. Впервые в жизни я получил открытку — приглашение на день рождения. Мама подготовила для него подарок. Это была коробка зеленого картона. Через много лет, когда я спросил маму, что было в ней, она сказала: детская расческа из оленьего рога. Крепко прижимая подарок подмышкой, после нескольких неудачных попыток я сумел — таки в стремительном прыжке дотянуться до кнопки звонка у входной двери. Открыла его мама. К ноге ее прислонился Саак. Он встретил меня жалким взглядом и черным жеваным костюмчиком. Под воротником его белой рубашки был завязан галстук-бабочка, загнутые кончики которого упирались в складки его подбородка. Он держал в руках обтянутый кожей, украшенный длинноволосыми головами американских индейцев сундук и, тряся щеками, давал понять, что собирается складывать туда подарки. Мы все по очереди подходили и, поздравляя с днем рождения, клали подарки в сундук. Когда очередь дошла до одного из ребят, державшего на руках кролика, Саак попятился и окаменел. Он переводил взгляд с кролика на сундук и снова — с сундука на кролика. Кончиком языка облизывал края губ. Кролик грыз капустный лист, его усики подрагивали, уши тряслись. Саак, закрыв крышку сундука, мелкими шажками подошел, двумя руками осторожно обнял животное, потом приблизил к нему щеку и с нежностью потерся об усики кролика. Его лицо осветилось счастливой улыбкой. Больше Саак кролика из рук не выпускал. С этой минуты никто не обращал на него внимания. Мы играли в прятки, в солдатиков, толкались, ели фрукты; Саак был равнодушен ко всему: он был слишком занят арбузом. Он жадно закладывал за щеки арбузную мякоть и легким усилием челюстей сначала давил ее, а затем, недолго пожевав, сглатывал кусками, не подымая головы на сидевших за столом детей. Потом, когда очередь дошла до торта, он задул свечи и, не вытерпев, пока мать разрежет торт, бросился и начал его пожирать. Он погружал указательный палец в крем, облизывал, смазывал им язык, потом, утрамбовывая, засовывал оторванный от торта кусок в рот, а в конце вытирал измазанные кремом пальцы о брюки. Наверное, Саак думал, что еда позволит ему забыть о нашем присутствии, но мы никуда не девались. Когда он, опухший от еды, встал с места и подошел к пианино «Petrov», мы поняли, что действительно пора сматываться, но было неловко: жалкий взгляд его матери умолял остаться — остаться и покорно выслушать игру ее сына. Недовольные, мы вынуждены были рассестись вокруг пианино. Саак осторожно положил кролика на крышку инструмента, плюхнулся на вертящийся стул и, склонив голову к клавишам, заиграл. Сначала он играл неуверенно и с опаской. Постоянно высовывал и прятал язык, облизывал губы, возможно, еще хранившие сладость крема. Он смотрел то на лежащего на пианино кролика, то на свои пальцы, то на кролика, то на пальцы, но вскоре, осмелев, уловил эмоциональную суть мелодии. Я был поражен: его мясистые, медлительные пальцы ускорились и невероятно удлинились, сливаясь с клавишами и совершенством исполнения. Он играл без нот. В уголках рта скопилась слюна. Рот его не закрывался, а крупная

Лидия Григорьева

Термитник

*Роман в штрихах. Книга третья**

Чужой чих

Молодой худощавый англичанин в лёгкой ветровке, явно не по этой промозглой погоде, чихнул ей прямо в лицо, когда она выбирала коробку с яйцами. Магазин был полупустой, и почему он подошёл к ней так близко, объяснить можно было только тем, что ему этого хотелось. Поступил он при этом как заправский ковид-террорист. Английские газеты давно уже пишут об этом. Особенно часто освещала такие истории любимая британцами бесплатная газета Metro, с подробностями описывая подобные случаи в транспорте и магазинах. Да что там! Часто просто в толпе, на улице! Мелкие капли его слюны попали Анне на лоб и щёки, не закрытые спасительной, довольно плотной маской.

И через пару дней, несмотря на две вакцины и маску, она заболела! Слегла. Тест оказался положительным. Её закрыли дома на карантин. Никаких специальных лекарств от ковида тут отродясь не выписывали, врачи по домам не ходили, лишь по телефону советовали пить парацетамол. И прислали с курьером мини-аппаратик для измерения сатурации. Вот если будет уровень кислорода меньше 80-ти, вызывайте «скорую», — сказал «домашний врач». В её стране таких врачей звали участковыми.

Почему она всё же решила, что это был англичанин? Потому что белый? Так, может, он прибалт какой-нибудь или поляк. Нет-нет, поляки всё же католики, в Бога верят в большинстве своём. Они не могут вот так по-хамски чихать, брызгая прямо в лицо людям заразной слюной. Совесть не позволит. Единственная страна в Европе, где ещё Бог живёт, а значит, и совесть там должна водиться. Англичанин, точно. Они и сезонным гриппом пренебрегают, в транспорте кашляют и чихают. И дети у них распускают сопли едва ли не до земли. Сопливые в школу ходят, и это

Григорьева Лидия Николаевна — поэт, эссеист и фотохудожник. Родилась в 1945 году на хуторе Лысый Новосветловского района (ныне село Лысое Краснодонского района Луганской области). Печаталась в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Новый мир» и др. Автор многих поэтических книг и романов в стихах, в т.ч. «Небожитель» (2007), «Сновидение в саду» (2010), «Вечная тема» (2013), «Русская жена английского джентльмена» (2017). Живёт в Лондоне и Москве.

Предыдущая публикация глав из романа «Термитник new» в «ДН» — 2021, № 2.

* Журнальный вариант.

не считается тут болезнью. Но заболели ведь не они, а она! Странная страна. Привыкнуть невозможно.

«Не нравится, так и не живи там! А возвращайся обратно в Горловку. Тут тебя быстро вылечат!» — сказала по скайпу близкая подруга. И добавила: «Тут не от чужого чиха, и не от ковида люди погибают. Нет, не от ковида...»

Белый камень

Это ж как... люди раньше на этой земле годами строились. Большие дома, просторные. Бывало, отец начинал, а сын заканчивал. Вокруг по степи всхолмия сплошь из белого камня-известняка. Бери — не хочу. Камень прочный. И дышит. Это вам не кирпич или бетон. И обтесать его легко: мягкий. Ну а на фундамент камень-дикарь шёл. Земли тут ровные, степные. Ни наводнения, ни землетруса, ни весеннего селя. А земля — хоть на хлеб мажь! И бревно воткни — плодоносить начнёт. Вот и расселились. Разрослись. А работать — так на Попасной большой узел, грузовые составы, работы хоть отбавляй. Формировщиком устроился, к примеру, и живи. Огород тебе в помощь! По степи напрямую километров пять, так на то мотоцикл с коляской есть. Если что, там и на шахты недалеко устроиться было можно. И кому это всё мешало! Ну ты скажи, Михалыч. Теперь, глядь, чисто поле кругом — ни дома целого. Головёшки одни чёрные. И камень белый аж почернел. Всё с землёй сравнивали, захватыва негде, если надо. И боец ещё сильнее пригнулся в неглубокой траншее и закурил, прикрывая огонёк заскорузлой ладонью от снайпера, засевшего неподалёку в бывшем совхозном свинарнике.

Камыши

Не-е... под пули он не пойдёт... в камышах отсидится... Когда-нибудь же это кончится... Так подумал...

Но вышел ночью к обильным чужим огородам огурцов нарвать да и остался на постое у вдовы противника. Да и какой он противник: одноклассник бывший! Гришка Михельсон. Нет шоб дураку захватыва как след, так пошёл обороняться — от кого не пойми. Да и полёг почём зря.

Под Одессой дело было. В ту ещё, первую... как её ни назови...

Коза

Небо визжало. Земля плевалась острыми осколками железа. Но нужно было отвязать козу и затащить её в подпол, вырытый ещё дедом. Там их семья хоронилась ещё в немецкую оккупацию. Тогда семеро детишек было, а сейчас всего трое. Дед говорил, тогда коза их от смерти спасла. Козьим молоком кормились, выжили. Глядишь, и сейчас спасутся. Вот только доползти бы до козы, да отвязать, да дотащить упряму до подвала. Вот ведь принесла их нелёгкая из Тюмени на юга, на дедовский хутор в донецкой степи. Отдохнули, называется, всей семьёй, поели овощей и фруктов, что и говорить. Ох... лишь бы до козы добраться, когда обстрел закончится. А там и трава не расти...

Пилот

Как интересно: летит себе военный лётчик по своим военным делам, а под ним на земле огненными спрутами шевелятся, простираются города-миллионники, обильные красивыми домами и людьми. Никакого затемнения! Всё сияет огнями! Словно фильмы наши военные никто не смотрел, правил войны не знают. Поверили, что не война это. А что тогда? Подумал-подумал пилот да и сбросил свой груз в чистом поле.

Так и скажет потом трибуналу: учился, мол, в этом городе, жил. Влюблялся. Может, она и сейчас ещё в этом городе живёт, по этим улицам ходит! Уж лучше он один — так и сказал, — чем они все, хоть убейте...

Крыша

Ага, как раз... как долбанёт, не то сорокопятка, не то гаубица... сразу и не разберёшь, выйдя до ветру... Хотел в отпуске дядьке родному по матери помочь хату перекрыть: крыша сильно прохудилась. Уже было и шифер завезли. Да где уж там та хата...

Голубые банты

Она раздела его взглядом. И он не понравился ей. У него был вид таракана, случайно вместо жирного супа попавшего в компот.

Знакомство не то чтобы не состоялось, а провалилось как проект. Он узнал в интернет-конфидентке девочку, в которую был влюблён в детском саду. У неё и сейчас небесно-голубой взгляд и такого же цвета блузка. А тогда у неё в волосах были большие голубые банты. По случайному или нет совпадению дорогое эскорт агентство, в которое он обратился, так и называлось: «Голубые банты». Взять её на австралийский конгресс сексологии в качестве партнёрши или нет, решил её холодный, циничный, раздевающий взгляд. А могла бы хорошо заработать. Он расплатился за капучино и вышел под морозящий питерский дождь. Да бывает ли тут лето хоть иногда! Жаль, что именно её выбрали в агентстве. Ведь она, и только она могла вспомнить, что известный сексолог и психотерапевт когда-то в детском саду тоже был девочкой. И его мама любила повязывать на её русую головку большие голубые банты.

Папка

Смартфон привычно высветил вопрос: «Имя папки?» А там и нужный файл можно было бы найти.

«Да уж... — ухмыльнулся Илья. — Не так всё просто... ишь... имя папки. Легче вспомнить имя мамки!» Фрося. Ефросинья. Он часто использовал имя матери в кодовых словах, оно довольно редкое. А вот имя отца — не помнил. Вернее, помнил, но не вспоминал. Из мести, наверное.

Александр Климов-Южин

Вспоминая лето

* * *

Сухая мышьяная листьев возня,
Как время скукожилось, сжалось,
Как быстро темнеет — в стволах ото дня
Почти ничего не осталось.

И лес, как одёр, и его худоба
Тревожна, рядовки рядочком...
Дух осени поздней с душком от гриба,
И прячется солнце за кочкой.

Пора возвращаться на дачу, сжигать
Отжившие стебли и ветки,
И плети лозы побуревшей сдирать,
Как память о лете, с беседки.

Вспоминая лето

Венера гаснет, спать ложится Веспер —
Бог отгоревших звёзд.
Охотиться летит, чуть утро, vespa
На тлю в питомник роз.
Волк огородов, гладкобрюхий шершень,
Гроза полей,
Завис, как птерозавр, над тлём обмершей,
О, нет, куда страшней...
Для дачников соседство неприятно
Его на чердаках:
Свиреп на вид и жалит беспощадно,
Угроза в двух шагах.

Климов-Южин Александр Николаевич — поэт, эссеист. Родился в 1959 году. Автор нескольких поэтических книг. Соучредитель газеты «Театральный курьер». Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Москве.

Но мы ему нальём побольше пива
В бутылку горлом внутрь,
Он отхлебнёт и без императива
Захочет утонуть
В хмельном, поскольку пьяница, пропойца,
И хоть свиреп с лица,
Он вылакает жизнь свою до донца,
До самого конца.

* * *

Захотелось быть миленьким, маленьким,
Перевязанным накрест
Оренбургским пуховым платком,
Пятилетним, на санках за маменькой
Ехать свежим, искристым снежком
Новогодним, чтоб щёчки румянились,
Как грудки у снегирей;
Чтоб ладошки озябшие прятались
В рукавички саммаленького из детей.
Как устал я быть взрослым, взрослым,
Как хотел бы я снова побыть
Самым маленьким, воздух морозный
Ртом раскрытым ловить.
Ощушаю своё одиночество
Безысходнее средь новогодних витрин,
Ни семья и ни творчество
Не спасают, я маленький. Остро —
Мама — женщина номер один.
Разрыдаешься стареньким,
А расскажешь кому, засмеют...
— Надоело быть миленькими, маленькими, —
Неразумные детки поют.

* * *

Человек превращается в глину:
Экономит — не курит, не пьёт,
Что ж, заначку жена на годину
В третьем томе Шекспира найдёт.
Может, где-нибудь в «Тропике рака»
Обнаружилась из забытья
Иль в «Шагреновой коже» Бальзака
Истощилась заначка моя?!
И покуда душа воскресает,
Сбросив тяготы прежних забот,
Воннегута мой внук пролистает,
Может быть, за зелёный прочтёт.

И пока расщепляется атом,
Вещество рассыпается в прах,
Три куска по соседству с Булатом
В Манделштама отыщут стихах.
Разве можно доверить их было
Сладкоежке, кутилке, живцу...
Вот на утро при жизни и сплыло,
Привалило на полке певцу.

* * *

Случилось, что должно случиться:
Инсульт, кровоизлиянье, тромб, —
И сердце перестало биться,
И до костей прошил озноб,
Но я расстроился не шибко,
Успел подумать на послед,
Что тут какая-то ошибка —
Вся эта тьма, весь этот бред.
Что всё на свете поправимо,
Всё обойдётся как-нибудь,
Что смерть — не смерть, а только схима,
Что можно всё ещё вернуть.
Что я в гробу видал сосновом
Весь этот сюр и постмодерн,
Что мне не нравится обнова —
(Тем более не мой размер).
Что эта жизнь кратка как хайку,
Немногословна, как Басё;
Наивный, я поверил в байку
Бессмертия... а это всё.

Лидия Чистякова

«Мне посчастливилось...»

Эти записки моя бабушка Лидия Петровна Чистякова, урожденная Смирнова (13.02.1890 — 23.03.1963) начала писать незадолго до своей смерти. Последние страницы ее живых воспоминаний написаны детским почерком — бабушке уже было трудно писать: рука не слушалась, а слова на бумаге расплывались, и она диктовала текст Оле, моей младшей, тогда девятилетней, сестре. О существовании этих записок мы (дети Лидии Петровны — Тася и Лёля, и я с братом Виталием) узнали уже после смерти бабушки — и старуха, и ребенок хранили свою тайну.

Бабушка Лида с самого раннего детства имела внутреннюю потребность к писанию и всегда гордилась тем, что ее выделял преподаватель литературы, говоря: «А вам, Смирнова, нужно писать! В вас есть искорка!»

Однако писать не получилось. Всю жизнь она тащила семью, не такую большую, как семья ее родителей или родителей мужа, где было по восемь человек детей, но бабушка жила совсем в другое время: то надо было выживать физически в гражданскую, то спастись от голода и искать работу (выходцам из духовенства в 20-е годы XX века это было не просто, даже «в частном секторе»). Священников расстреливали тысячами, когда о расстрелах гражданской войны уже стали — вернее старались — забывать, а до массовых расстрелов 30-х годов еще оставалось время); то снова война, и бомбежки Москвы, и фронт рядом с городом — и что с детьми, и так — всю жизнь.

А потом, ближе к старости и в старости, навалились еще три внука по очереди: Виталик, потом я, потом Оля. Она успела по нянчить каждого и с каждым пожить и в деревнях у родных, и в конце жизни — на даче на станции Детская, около подмосковной Ивантеевки. Хотя я помню также ее далеко не старушкой, приходившую в начале 50-х с работы, с Трёхгорки, где она была завучем школы рабочей молодежи, еле живую, усталую, но старавшуюся нас, детей, в своей коммуналке на Нащокинском переулке в доме 12 расшутить, повертеть в хороводе, взявшись за руки, что-то спеть с нами.

Все это делать с детьми она умела и любила еще со времен своей работы в школах и детском доме-интернате для детей-уголовников и беспризорников под Подольском, ещё со времен учебы в Калужском епархиальном училище, выпускавшем учительниц, и на Высших женских курсах в Москве.

Так бабушка и прожила с этой тлевшей в душе «искоркой», пока не почувствовала: или что-то напишет сейчас, или — уже никогда. Ей в то время оставалось жить и вправду всего ничего — несколько месяцев.

Поскольку записки бабушка диктовала и писала в то время, когда люди были вынуждены прятать глубоко внутри себя всякие «опасные» мысли, очень многое, разумеется, выпало из ее рассказа.

Л.Д.

* * *

В глухом месте, на расстоянии сорока километров от ближайшей железной дороги, среди лесов и болот, на высоком пригорке приютилось село, которое все мы называли Кузьминкой¹. Посредине возвышалась деревянная церковка, и полукругом около нее — деревянные домики, крытые дранкой. Здесь разместились церковный причт: молодой священник с женой, вдова умершего священника, диакон со своим многочисленным семейством, дьячок с женой и детьми, просвирня и за оврагом — школа.

Зимой село заносило снегом так, что приходилось церковному сторожу прокапывать дорожку от проезжей дороги к церкви и колодцу. В селе оставались старые и малые, а молодежь разъезжалась на учебу. У диакона двое детей учились в губернском городе: мальчик в семинарии и дочь в епархиальном училище. Свояченица-учительница уезжала в далекую деревню в школу и шуриин тоже — учителем.

Так же обстояло и в доме вдовы священника Александры Васильевны Смирновой. У нее было два сына и шесть дочерей. Старший сын, Леонид, был заведующим министерской школой в Тихоновой Пустыни. Второй, Александр, работал земским врачом. Четыре старшие дочери — Варвара, Анастасия, Александра и Мария — были учительницами в разных сельских школах. Лида, то есть я, только что кончила епархиальное училище, и младшая, Наталья, еще училась.

Летом жизнь в селе оживала: съезжались учителя и учащиеся, делалось шумно и весело. Молодежь днем купалась в реке, которая протекала под горой; ходили в лес за грибами, по ягоды. А вечером собирались на крыльце домика Смирновой и устраивали концерты.

Семейство диакона Копьева одарено было прекрасными голосами. И вся семья Смирновых так же принимала живое участие в пении. Пели народные песни и даже водили хороводы, особенно когда присоединялась молодежь из соседних сел. Пели старинные романсы — дуэтом и соло. Особенно отличалась своим красивым контральто Катя — дочь диакона.

Было начало июля. В доме Александры Васильевны все разбрелись. Ждали приезда старшей дочери Варвары с братом Леонидом. Одна компания пошла прогуляться в лес, там была моя сестра Александра с мужем и малолетним сыном. Муж ее, Пётр, был студентом сельскохозяйственной академии. Сестра Маруся, веселая, задорная брюнетка, сидела в саду с Георгием, студентом, братом Петра, они весело болтали. На крыльце осталась мама, Александра Васильевна, она штопала чулки. Здесь же сидела и я — восемнадцатилетняя девушка, светлая блондинка. Я только что окончила епархиальное и с осени должна была поступить учительницей в далекую глухую деревню. Я была особенно грустна и молчалива, несмотря на сидевшего со мной рядом семинариста, который прилагал все усилия, чтобы меня развеселить.

У меня были две причины грустить. Первая — близился отъезд в школу, который пугал своей неизвестностью. Но не это так сильно угнетало меня. Я каждые каникулы проводила у брата-врача Александра в Тарутино и подружилась там со студентом Виктором. Виктор Иванович Чистяков родился на Ивановой Горе, местечке напротив деревни Орехово, недалеко от Тарутина. А мой брат Александр Смирнов, земский

¹ Это прицерковное сельцо все именовали Кузьминкой благодаря деревянной церкви св. Козьмы и Дамиана (Медынского уезда Калужской губ., близ деревни Насоново). Сейчас это место, как и церковное кладбище с замечательными памятниками, поросло столетними берёзами. Остались лишь кирпичные столбы от спалённой в 20-е годы церкви, да чудом жив и буйно цветёт огромный куст сирени.

врач, знал и лечил семью Чистяковых. Отец Виктора, как и мой, был священником. Уже три года мы были с Виктором знакомы и между нами шла деятельная переписка. В этом году он окончил институт и поступил в отдаленный окраинный город Белосток учителем реального училища (позже — гимназии).

На эти каникулы брат не позвал меня к себе, видимо, опасаясь, как бы дружба с красивым брюнетом (ему было уже 27 лет) не перешла в более серьезное чувство, так как восемнадцатилетняя девочка, бедная сирота, которая одевалась в обноски старших сестер, не могла, по мнению брата, представлять ничего интересного для блестящего молодого человека, тем более что все знали, что Виктором увлекалась дочь соседа, богатого помещика Зуева.

Надвигались сумерки. Сидя на крыльце, я думала, что теперь уже не увижусь с Виктором никогда, а значит, навеки его потеряю. Погруженная в такие безнадежные мысли, я не заметила отдаленного звона бубенцов. Но вот звон колокольчика стал слышней и слышней. Вскоре из-за поворота на дороге показалась тройка, запряженная в пролетку. В такой глуши звук колокольчика был редкостью. Все решили, что, вероятно, мимо проезжает барин из соседнего имения. Но вот пролетка повернула за околицу и приостановилась у сторожки. Сторож вышел и показал на наш домик. Кучер подкатил к самому крыльцу, из пролетки выбежал молодой человек в белом кителе и форменной белой фуражке.

Я не верила своим глазам — это был он, Виктор! Примчался на лошадях за 70 верст! Я растерялась так, что не могла сдвинуться с места. Сестра Настя подтолкнула меня и сказала, чтобы я вышла встретить Виктора, поскольку он ни с кем из наших не был знаком. Тогда только я выбежала к нему и протянула руку.

Вышла мама, Александра Васильевна, Мария моя тут же познакомилась с ним и пригласила в комнату. Ямщику сказали, чтобы он отпряг усталых лошадей, подкосил им травы, а сам зашел в кухню пообедать. Мама, пожилая женщина с молодыми черными глазами, энергичная и веселая, сразу дала понять Виктору, что он свой человек и желанный гость. Она взялась за самовар, и вся семья быстро собралась. Стали расспрашивать, как доехал, как семья брата Александра — с ними он виделся перед отъездом. Вокруг него были веселые молодые лица, и он почувствовал такую теплоту, точно попал в родную семью, тем более что за дорогу много раз думал: «А вдруг встретят холодно, недружелюбно?»

Вскоре мужчины отправились купаться, а женщины — готовить ужин и чай на крыльце. Крыльцо было просторное, с большим столом, и вокруг него — лавки, рассчитано на большую семью.

Виктор привез закусок и дорогих конфет. Настя, большая сладостница, поглядывала на стол и причмокивала: «Этот стол не видел такого угощения, — говорила она, — почаще бы к Лиде женихи приезжали».

В тот вечер долго шумели, смеялись на рассказ Виктора, как он при своей застенчивости решился ехать за тридевять земель, не будучи почти ни с кем знаком, кроме меня и Петра с Александрой. Наконец стали все размещаться на ночлег. Места хватало, так как были летние пристройки в доме. Виктору приготовили постель в светелке, так называли комнату, сделанную на втором этаже.

Он остался один и не знал, как бы просить меня, чтобы я зашла к нему повидаться, так как за весь вечер это не удалось. И вдруг, к своей радости, услышал легкие шаги на лестнице. Он отворил дверь, чтобы осветить темную лестницу. Я быстро вбежала к нему и сразу очутилась в его объятиях. Он нежно привлек меня к себе, и белокурые волосы рассыпались по его плечу.

Я забросала его вопросами: как он решился на такую дальнюю дорогу? как родители отнеслись к его отъезду? Он сказал: «Я решил: что бы мне ни пришлось испытать, но я должен взглянуть в эти ясные голубые глаза, бездонные, как небо».

Сборный пункт

Заочный «круглый стол»

Во времена жестких разрывов, отмены, выстраивания железного занавеса как никогда важно ощущать родство, в том числе эстетическое, вырабатывать и сохранять точки культурной сборки.

Обычно «родословную» авторов (и их героев) пытаются выстроить биографы и рецензенты. Нам было интересно свидетельство из первых рук: самоощущение, самоопределение писателей. Мы предложили прозаикам, поэтам, критикам — старшим и младшим современникам — ответить на три вопроса:

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

В этом номере — размышления Алексея АЛЁХИНА, Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА, Шамиля ИДИАТУЛЛИНА, Алёны КАРИМОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Анны КОЗЛОВОЙ, Алексея САЛЬНИКОВА, Дарьи СЕЛЮКОВОЙ, Юрия СЕРЕБРЯНСКОГО, Глеба ШУЛЬПЯКОВА, Ростислава ЯРЦЕВА.

Алексей Алёхин, поэт (г. Москва)

«Писательство — это вся жизнь»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Если в самом широком смысле, то, наверное, вообще *всем*. Включая безвестных авторов из какого-нибудь Шумера, от которых не дошло ни имени, ни строчки. Потому что словесное художественное мышление, раз начавшись, не прерывалось никогда, и его прошлое присутствует — когда целыми фразами, когда единичными атомами — во всей последующей поэтической речи. Что мы порой с удивлением обнаруживаем, открыв текст неведомого автора, иногда из давних времен, и найдя в нем переключки со своими собственными опытами. Да до того близкие, что хочется украсть.

Ну, а в узком... Речь, как я понимаю, идет о поэтике. Пожалуй, питательной почвой были ветвь русской модернистской короткой прозы (Олеша, Ильф — только не романов-фельетонов, а записных книжек; отчасти поздний Катаев), Хлебников (не головокружительных рифмованных экспериментов, а верлибрический: «Зверинец», «Ручей с холодной водой...») и русская домонгольская прозапоэзия (вроде «Слова о погибели Русской земли»). А еще в юности впечатлил ранний Вознесенский — подчеркнутой зримостью метафор и образов.

В зарубежной поэзии ближе всех оказались французские модернисты: Аполлинер, Блэз Сандрар... Тут, думаю, многое зависело от случая и от перевода.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

У моих сверстников такие точно имеются, иногда даже не отдающие в том себе отчета. Мне кажется, кое-кто есть и у меня. Но не стану же я их называть — а то произведу кого-то в «наследники», а он в ответ выпучит глаза: «А ты-то кто?»

Вообще-то наследование в литературе, если речь не об эпигонах, идет, как известно, через поколение. Непосредственных предшественников как раз и сбрасывают с парохода, даже если и уверяют, что хотели сбросить Пушкина.

Вот литературные внуки подрастут хорошенько, объявят меня своим литературным дедушкой, тогда я, старенький, и умилюсь.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

При всем разнообразии, наше поколение — впрочем, как и поэтов двух предыдущих — объединяет принадлежность к русской поэзии после великого модернистского перелома, что произошел в ней в начале минувшего века и который по суетливости порой пытаются повторить. Это новая художественная эпоха, как эпоха Возрождения, и она пусть не три века, но довольно долго будет длиться. Мы теперь примерно в кватроченто, и хочется, чтобы впереди оказалось чинквеченто.

Наше поколение, пожалуй, последнее, заставшее литературоцентричную эру. Для каждого из нас литература, поэзия по-прежнему непререкаемо значимое дело, на которое есть смысл потратить жизнь. Я хочу, чтобы те, кто после нас, хотя им и трудней, сохранили эту веру: в то, что писательство — это вся жизнь. А не отхожий промысел и не ролевая игра. Самое удивительное, что таких немало.

Владимир Гандельсман, поэт, переводчик (г. Нью-Йорк)

«Наследование — это вопрос вероисповедания»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Коротко говоря, я наследую «смысловикам». Слово это принадлежит Мандельштаму, потому в кавычках. Так он называл себя и своих собратьев. «Звезда бессмыслицы» (это уже Яков Друскин о Введенском и Хармсе) мне не светит.

Имена избранников? Назову три имени, хотя мог бы двадцать три. Пушкин, Пастернак, Мандельштам. Сказать, что я им наследую, нескромно. Просто любовь предполагает впитывание в себя объекта любви. Это и есть влияние и наследование. Вообще-то мы присваиваем себе то, что в нас уже есть, что заложено генетически, что подлежит росту и идёт в рост, если хватает дарования и религиозного пыла, что почти одно и то же. Наследование — это вопрос вероисповедания.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Современники. Опять же я мог бы назвать очень много замечательных имён, но произнесу два. Я выделяю их по той причине, что они для меня новые, и это мое невежество: я открыл, оценил и полюбил их в последние года три-четыре, хотя они в литературе давно.

Это Каринэ Арутюнова и Вадим Жук. Я мгновенно их природнил как сестру и брата, что вовсе не значит, что я приравниваю себя к ним. Не то чтобы я не годился им в подмётки, это не о скромности... Речь о другом.

Феерическое жизнелюбие, дар любви к дому, родителям, в конце концов, к миру (к миру как к тому, что противоположно войне), прикосновение ко всему, что требует прикосновения, и несравненное изящество этого прикосновения, скрупулёзная память и воскрешение прошлого с неведомой для этого прошлого силой, абсолютный слух, неисчерпаемый словарь, природная умная страстность и неистощимая энергия познания, познания себя, потому что познание «окружающей среды» у этого автора никогда не туристическое, оно не направлено на предсказуемые достопримечательности, оно устремлено к явлениям, которые «не предугаданы календарём», и ему, этому познанию, сопутствуют не «поэтовы затмения», но поэтовы просветления, — всё это Каринэ, поразительный поэт в прозе, и такой, как она, больше нет.

Мне казалось, что театр и лирическая поэзия — «две вещи несовместные»... Казалось до тех пор, пока не появился поэт, который моё мнение опроверг. Поэзия обрела новые черты: особенно пристальную зримость, какое-то заострённое поведение строк, не позволяющих себе быть заурядными, проходными, и это в некотором смысле театральная закваска, в хорошем смысле, при том, что автор не играет в талантливость, он такой по природе: заточенный на остроумие (редкое качество в большой поэзии), сочетающееся удивительным образом с горькой иронией, с открыто трагической гражданской нотой, с замечательным интонационным разнообразием. В этом поэтическом спектакле масса действующих лиц — и предметов, и людей, и состояний, и все они оживают и взаимодействуют в одном-единственном исполнителе. Он обладает великолепным даром перевоплощения, меняя то и дело маски трагедии и комедии (иногда в пределах одного стихотворения, если не строки), — при этом оставаясь собой, точным и пронзительным в деталях и в целом. Всё это Вадим, и такого, как он, больше нет.

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Что работает на будущее? Что останется? Об этом — выше.

Шамиль Идиатуллин, прозаик (г. Москва)

«Я рабочий на построенной ими фабрике»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)*

Безусловно, я воспитывался, живу и, стало быть, пишу под массой влияний, в том числе литературных. Критики то и дело уличают меня в наследовании: то я русский либо татарский Стивен Кинг, Нил Гейман или, внезапно, Артур Хейли, то современный Владислав Крапивин или Владимир Савченко. Я высоко ценю и люблю почти всех названных и многих других авторов, раз за разом повторяю, что да, формировался как

читатель и носитель странных, но четких представлений о прекрасном под определяющим воздействием трех писателей (Крапивин, Виктор Конецкий и единый автор братья Стругацкие) и одной книги («Момент истины» Владимира Богомолова), но считать себя их наследником было бы с моей стороны наглым и глупым самозванством. Я сравнительно недавно сообразил, что список странноват: его представители не вспоминаются как первый очевидный пример понятия «великий писатель», все они относятся не столько даже к русской, сколько к советской литературе, более того, я был современником каждого из них. Возможно, это многое говорит о моих культурных, интеллектуальных и творческих особенностях, но сам я не готов делать из этого серьезных выводов. Сегодня мой список любимых авторов, естественно, укомплектован разнообразными классиками, от Уильяма Шекспира, Александра Пушкина и Габдуллы Тукая до Михаила Булгакова, Николая Олейникова и Ивлива Во. Но мало ли кого я люблю. Как говаривал один генералиссимус, сперва подпрыгнув, потом присев: «Государыня императрица вот какая большая, а я вот какой маленький». В любом случае, я не считаю, что продолжаю дело каких-то конкретных авторов. Я, скорее, рабочий на построенной ими фабрике — хочется надеяться, не сборщик на конвейере, а мастер опытного производства. Но и об этом не мне судить.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Текущая литературная ситуация заставляет меня исходить из презумпции незнакомства. Шестьдесят пять лет назад вольно было героине известного фильма топырить губку на тему: «Странно, что вы не слышали, вообще-то это вся Москва читает». Последние тридцать лет радикально изменили ситуацию: хороших и разных книжек выходит множество, и закладываться на то, что кому-то из читателей не повезло вырасти именно на твоих, и странновато, и противоречит моей теории. Теория гласит, что каждый писатель всерьез пишет для своих ровесников (ну, плюс-минус десять лет), а читателям, что заметно старше или младше, просто неинтересен — как неинтересна нам в 15—20 лет была любимая музыка наших родителей (и наоборот), а нам, соответственно, кажется дичью любимая музыка наших детей (и наоборот). Это правило, как и всякое, знает множество исключений, и каждое из них меня удивляет и радует. Но для того, чтобы узнать в ком-то своего читателя, мне по-прежнему надо, чтобы читатель признался в этом добровольно и недвусмысленно.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Я не фанат поколенческих градаций. Легко и приятно понимать, что Роман Сенчин, который на один день старше меня, Эдуард Веркин или Алексей Сальников, которые на несколько лет моложе, исходят примерно из тех же подходов и принципов, что и я. При этом мне категорически не хочется как-нибудь соотноситься с ровесниками и ребятами постарше и помладше, призывающими насаждать, побеждать и убивать или с усмешкой, да и просто спокойно, относящимися к убийствам. Но мне нравится, что основное течение литературы постепенно уходит от так называемых главных тем (как бы они ни звучали: «Герой как частица великой силы», «Герой в противостоянии великой силе» или «Герой в поисках великой силы внутри себя») к концепции «Нет идей важнее людей», к копанию в огромном массиве маленьких проблем, бытовых, семейных, интимных, глупых, нелепых, моих, — которые решает не герой, а человек, более-менее я, и путь к решению которых часто начинается с эмпатии, с признания другого человека таким же важным и значимым, как я сам. Мне нравится, что мои сверстники в литературе часто исходят из того же принципа. И особенно мне нравится, что авторы, которые младше меня лет на пятнадцать-двадцать пять, держатся этого принципа массово и жестко. С ними — с молодыми писателями и читателями, — и связана моя надежда.

Алёна Каримова, поэт (г. Казань)

«Главное — искренность»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Вопрос довольно сложный для меня. Есть близкое по духу, а есть по эстетике. Конечно, первое в значительной степени определяет второе, но все же это разные облака. Отечественная литература состоит для меня как минимум из двух частей: русской и татарской. Из русских поэтов это в первую очередь Баратынский, Бродский и Цветков. Из татарских — Дэрэмэнд и Аглямов. И Равиль Бухараев, который воплощал в себе и татарское, и русское, и европейское. Конечно, не только они, но они были, наверное, наиболее важны. Что касается мировой литературы, то это, скорее, прозаики — Маркес, Пруст, Исигуро...

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Мне очень близка позиция уже упомянутого Баратынского, которую он сформулировал без малого двести лет назад: «И как нашел я друга в поколенье,/ Читателя найду в потомстве я». Мне кажется, что и друг в поколенье, и «свой читатель» это всегда, что называется, «штучный товар». Бог знает, где и когда что-то отзовется.

Что касается молодости, рамки в наше время очень размыты — кто сегодня молодой? Кому пятнадцать, двадцать пять, тридцать пять? Кто-то и в пятьдесят считает себя молодым. Это просто очень разные люди с разной позицией и разными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо и в жизни, и в литературе. Безусловно, сама я — читатель для своих друзей и просто сверстников, и меня, смею надеяться, кто-то читает, а границ свой—не свой для меня не существует. Возможно, потому, что я никогда не входила ни в какие литтусовки и компании, предпочитаю бродить сама по себе.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Думаю, главное одно — искренность. Или, как говорил Равиль Бухараев, подлинность. Когда кто-то настоящий, это всегда видно. Будущее за настоящим (простите за невольный каламбур), которое рано или поздно всегда становится востребованным.

Бахыт Кенжеев, поэт (г. Нью-Йорк)

«Когда читаешь какого-нибудь Овидия...»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Стараюсь наследовать великим, то есть расширявшим горизонты поэзии и языка. В моем списке — Державин, Пушкин, Баратынский, Тютчев: в XX веке — Мандельштам, Заболоцкий, Ходасевич, Даниил Хармс и многие другие. Однако жить на проценты с капитала, доставшегося от классиков, невозможно — каждая эпоха требует обновления языка и мировоззрения. Иногда оно происходит по-настоящему, иногда нам предлагают

корыстные подделки, призванные шекотать нервы непритязательного читателя. Говорят, что главный смысл жизни — в ней самой; таково и назначение поэзии и иных видов искусства. Мой друг Глеб Смирнов, замечательный искусствовед, написал книгу «Артодоксия», где не без лукавой усмешки уверяет, что изящные искусства представляют собой едва ли не основную цель существования человечества. Когда видишь наскальные рисунки двадцатитысячелетней давности или читаешь какого-нибудь Овидия, возникает соблазн полностью согласиться с этой идеей. Я давно уже не пишу, к сожалению: настали трудные времена. Но бывали и труднее, и пишущая братия к ним привыкала. Ну да, пришлось за последние годы расстаться со многими иллюзиями. Человечество оказалось куда более неисправимым, чем представлялось. Надо привыкать, надо возвращаться к трудам, продолжать бороться, пардон, за добро и красоту. А что еще остается?

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Литература — чрезвычайно живучая штука. Какое бы безумие ни овладевало обществом, обязательно находятся люди, которые ему не поддаются. Тихим сверчком под советским плинтусом прожил свой век Арсений Тарковский — и оставил нам великолепное наследство. Из глубокого литературного подполья появился язвительный гений Владимир Сорокин. До него — Окуджава, Искандер, Трифонов. Так и сейчас. С радостным удивлением наблюдаю за возмужанием молодых поэтов — и читателей — разделяющих мои ценности. Впрочем, наряду с ними существуют и ловкие ребяташки, строчащие вялые верлибры на актуальные «общечеловеческие» темы, и бодрые активисты северокорейского типа, воспевающие идеологическую (а то и военную) борьбу с огородными пугалами, придуманными бессовестными пропагандистами. Как в автопроме, поэзия бывает самая разная. Кто строит автобус, кто инвалидное кресло на колесах, кто всю жизнь пытается собрать «Феррари» из подручных материалов. Все зависит от таланта и амбиций. Кстати, общим местом стали разговоры об упадке поэтического искусства и падении читательского интереса. Но был ли он когда-нибудь велик? Разве что в 60-е годы прошлого века, за недостатком иных развлечений. Так что все не так печально.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Думаю, ответить на этот вопрос может только грамотный читатель, а не сам автор. Признаюсь, впрочем, что одним из двигателей моего собственного, так сказать, творчества, нередко служит белая зависть. Читаешь классика или друга-современника — и начинаешь горевать, типа «ну почему сам я так не могу! Надо попробовать!» Перечислю и некоторые качества, особо ценимые вашим покорным среди поэтов (помимо таланта, разумеется): умение любить, умение чувствовать красоту и ужас мироздания, бескорыстие, душевное веселье и чувство юмора. Хотелось бы строить свою работу именно на таком наборе качеств.

Анна Козлова, прозаик (г. Москва)

«Всегда важно одно — честность»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Я не знаю, как в сорок лет можно на полном серьезе сказать: я наследую Достоевскому или Гюнтеру Грассу, и, главное, что это значит? Я реагирую на меняющуюся реальность, как человек, живший в XIX или XX веке? Я люблю огромное количество русских и зарубежных писателей, но я точно никому не наследую (по крайней мере, сознательно). Мы живем в условиях крайне стремительных событий. 10 лет назад нельзя было представить того, что окружает сегодня, и инструменты осмысления действительности, пригождавшиеся в прошлом, нам не помогут.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Я очень не люблю деления чего бы то ни было на лагеря и кланы, тем более литературы. Мне всегда казалось, люди сбиваются в кучки не от избытка идей, а от их отсутствия. В современной литературе мне интересны Татьяна Замировская, Оксана Васякина, в их прозе есть жизнь. Идеи тоже, безусловно, есть, но всегда приятно, когда книга разговаривает с тобой языком друга, а не политрука. Насколько мы друг с другом ментально связаны, мне сложно судить.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Всегда важно одно — честность. Литература — это вещь, существующая тысячелетия с одним и тем же инструментарием, парадоксальным образом не утрачивающая влияния. Честность рождается из определенной храбрости, которую в человеке иной раз даже сложно заподозрить. Только эта честность, кусок своего собственного мяса, вырванный зубами и поданный под обложкой, может изменить все — и судьбу писателя, и образ.

Алексей Сальников, поэт, прозаик (г. Екатеринбург)

«Мне дорого, когда литература верит в людей, любит людей»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Мне мало кто не нравится из предшественников. Так или иначе, стилистически или еще как-то обворовываю почти всех без исключения. Но очень полюбил Чехова в последние несколько лет, хотя и знаком с его взглядами. Настоящий его подвиг — поездка на Сахалин с его здоровьем — искупает все, что он наговорил среди близких и друзей. Так мне кажется.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Так получается, что я про людей своего поколения и пишу в основном. На большее таланта не хватает.

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Мне дорого, когда литература верит в людей, любит людей, когда эта любовь чувствуется в тексте. И все равно, человек какого поколения пишет про эту любовь, показывает человеческую нежность к другим людям в самых невероятных обстоятельствах.

Дарья Селюкова, прозаик (г. Белгород)

«Нас отличает желание принадлежности, иногда даже неосознанное»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)*

Кому наследую... Мне кажется, что творческую родословную писателя могут в полной мере проследить только критик и читатель. Или придумать. Я, например, считаю, что Маяковский наследует Уолту Уитмену, но согласились бы со мной филологи и сам Маяковский?

Возможно, все мы в той или иной мере наследуем нашим любимым авторам, потому что они впервые открыли для нас новые способы писать и мыслить. Поэтому я могу сказать, лишь кем я хочу стать, когда вырасту. Когда я вырасту, я хочу стать Урсулой Ле Гуин и Рэем Брэдбери. Неважно, буду ли я писать фантастику: главное, чтобы каждая моя строка была наполнена той же любовью к миру и верой в людей, что и у них. Верой в то, что творчество — не транспарант, не инструмент, а огромная живая душа человечества, в которой есть место всем чувствам.

Я жадный человек: в детстве я портила книги, вырезая из них красивые картинки, — мне казалось, что иначе я не смогу присвоить и сохранить эту красоту. И теперь, когда я думаю над вопросом наследования, понимаю, что хочу наследовать всем, кого читаю и люблю, жадно заимствовать у них самое лучшее: красоту их языка, их умение писать экшн-сцены, их обширные знания, их метафоры, их внезапные сюжетные повороты... но всё-таки я давно выросла, и мне мало просто вырезать понравившиеся места. Я не хочу на самом деле быть Рэем Брэдбери и Урсулой Ле Гуин. Я хочу, чтобы читатель, открыв мою книгу, испытал тот же восторг, что испытывала я, открывая «Волшебника Земноморья» или «Марсианские хроники». И только этому читателю решать, получилось ли у меня стать наследницей лучших.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Мне сложно воспринимать современный литературный процесс в целом: я всего лишь его малая часть, пишу в основном жанровую и фанатскую прозу, мало пересекаюсь с «коллегами по цеху». Я очень смутно представляю портрет своего читателя, и уж тем более не думаю, что я достойна оппонентов. Этот вопрос попал мне в самый «синдром самозванца»! Раз у меня нет ни наследников, ни оппонентов среди

молодых писателей, являюсь ли я вообще частью современного литературного процесса? А вдруг я ненастоящий писатель? Когда ты в потоке, как подняться над ним и окинуть его взглядом?

Но потом я вспомнила одну историю. Вряд ли это ответ на поставленный вопрос, а всё-таки расскажу. За весь прошлый и позапрошлый год я не написала ни единого рассказа, потому что работала сценаристом компьютерной игры. Нас в команде было шестеро, и когда наш огромный труд, по количеству слов превышающий «Войну и мир», был закончен, я увидела, как персонажи, которых я создала, пошли «в народ»: кто-то их полюбил, кто-то возненавидел, но нашёлся человек, который захотел продолжения истории: разобрал механизм игры, изучил мой текст и за несколько месяцев собрал продолжение сам. Звучит механически и холодно, но если вдуматься — сколько за этим любви и интереса!

Да, это не то «наследование», про которое мы говорим, это не про литературную преемственность поколений. Но, с другой стороны, для меня эта преемственность так и выглядит: желание разобрать понравившийся текст, понять, как он работает, а может, и улучшить его, потому что он бесит или написанного недостаточно. Вряд ли я узнаю преемника или оппонента, даже если встречу, но если где-то кто-то в эту минуту сражается с моим текстом, разбирая его на запчасти... какая похвала может быть выше этой?

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Я думаю, нас отличает желание принадлежности, иногда даже неосознанное. Вот у Оксимирона есть строчка: «Я так хотел принадлежать чему-то большему, чем я». На мой взгляд, это эпиграф всего нашего литературного поколения (к которому Мирон тоже, кстати, относится).

Я читаю Константина Комарова и вижу, что уникальность его стихов стоит на крепком фундаменте: наследование классикам и «маргиналам» превращается в камертон, позволяющий поэту настроить свой внутренний оркестр на чистое звучание.

Я читаю Елизавету Никифорову и чувствую как весь творческий мир, от современной поп-культуры до Шекспира, — так же Пастернак и Блок переосмыслили себя через Гамлета.

Читаю Дарью Чернышёву и люблю тем, как традиции серьёзной исторической прозы переходят в фэнтэзи, как автор поднимается над жанром, разворачивая над приключенческой канвой эпическую мысль: «род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

Пожалуй, именно это для меня и важно: связь, узнавание, цитата прямая или скрытая даже от самого автора. Кто-то может сказать, что стоять на плечах титанов — дело не почётное, но я вижу это иначе: как ту самую принадлежность к чему-то большему, ощущение себя не одинокой фигурой на сцене, читающей с телефона единственные в мире стихи, а веткой дерева, растущей из единого ствола, но цветущей по-своему, скрипкой в оркестре, играющей партию, которая есть часть единой прекрасной мелодии. Бытие человеком, а не островом.

Юрий Серебрянский, прозаик (г. Алма-Ата)

«Важен “открытый код”»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Я внимательный читатель, и проще ответить, чьего влияния я точно не испытал — это «закрытая» в советское время литература: Аксёнов, Битов, Саша Соколов, Платонов, Рыбаков. Если говорить о классике, несколько лет назад пригласили на занятие американских студентов в городе Айова, тема была — Фёдор Михайлович, пришлось выступать, и я сказал, что, по сути, мы с ними на одной дистанции до Достоевского находимся, мое преимущество только в языке. Что же касается отечественной литературы — отец у меня геолог, исколесил всю страну, и из каждой командировки привозил казахстанскую литературу, покупал в маленьких, почти невидимых городах и поселках. Ею у нас был набит весь дом. Но сам я уверен, что наследую Фицджеральду, конечно. В Казахстане постоянная «эпоха джаза», а твердокаменную реальность можно только в России потрогать, но нащупать у меня никогда не получалось.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Мои работы оказались созвучны таким же, как я, людям — носителям русского языка, не принадлежащим только русской культуре. Тем, кто в постоянном поиске языковой и культурной идентичности, и до ответов, судя по всему, еще далеко.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Если говорить о литературе, которая выходит сегодня на русском языке по всему миру, — хотелось бы верить, что важен «открытый код», что можно пробовать экспериментировать с темами и жанрами в ногу с миром, а не превращаться в секту. Мне близко недавнее высказывание Ильи Кукулина: «Русскую культуру можно сегодня изучать как часть ансамбля культур, общества которых прежде находились в колониальной зависимости от Российской империи / СССР: украинской, белорусской, казахской и других. И различать в таком исследовании те антропологические возможности в русской культуре, которые позволяют выстраивать не-гегемониальные и не доминирующие отношения с Другим» (журнал ROAR, № 1).

Думаю, «Дружба народов» в этом направлении и работает.

Глеб Шульпяков, поэт, прозаик, переводчик (г. Москва)

«Есть вектор, попытка заглянуть “за”»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Думаю, в поэзии не бывает какого-то исключительного наследования. Поэт интуитивно наследует всей поэзии, которая написана до него. На практике это выражается в массе влияний. Поэт испытывает их на протяжении всей творческой жизни. Мои юношеские стихи, например, были написаны под гипнозом поздней

лирики Пастернака и раннего Бродского, какой бы дикой ни казалась эта смесь сегодня. Излечил меня от этой зависимости Лев Лосев — своим антипафосом. В какой-то период музыка слова завораживала меня в стихах поэтов «Московского времени», которые в начале 90-х годов вышли к широкому читателю. Однако постоянным звуковым фоном для меня всегда был Блок периода «Вольных мыслей» и ахматовские «Северные элегии». Вот откуда берётся музыка на самом деле. В какой-то момент пришла поэзия эмиграции с её вечным знаком вопроса («Зачем?») — причем разных волн в разное время: Иванов и Ходасевич, Елагин и Чиннов («Иван Ильич у Льва Толстого/ Увидел свет — об этом речь./ Конец — или начало снова?/ Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?»). Параллельно всегда присутствовала поэзия англоязычная. От Элиота и его «Бесплодной земли» как бы расходились круги во все стороны — в будущее к Одну, Милошу и Паунду и в прошлое к Шекспиру и Джону Донну. Элиотовский Пруфрок был в юности моим героем. Стихотворение «Марина»? Шедевр, и вместе со «Стихами о неизвестном солдате» Мандельштама — вечный урок верлибра стихотворцу. А на другом конце дуги Фрост и «Письма ко дню рождения» Тёда Хьюза. Они помогли найти форму долгого дыхания для первых моих поэм. Которые в свою очередь немыслимы без наследования поэмам Александра Ревича и Евгения Рейна, откуда рукой подать до «Возмездия» Блока. «Поэма о ненаписанном стихотворении» Ревича — когда я перечитал эту вещь спустя много лет, поразился ее современности. Как всякий раз поражает «Возмездие», особенно третья глава. Но у Фета тоже есть образы и звуки потрясающе современные. Вечный экзистенциальный вопрос: зачем? почему? за что? Он звучит у Боратынского, чью «Осень» я знал наизусть. Он есть уже у Батюшкова — возьмите его «Тень друга», одну из лучших элегий в русской поэзии. И как ей «наследовала» Цветаева, например: «Я берег покидал туманный Альбиона”.../ Божественная высь! — Божественная грусть!/ Я вижу тусклых вод взволнованное лоно/ И тусклый небосвод, знакомый наизусть”... А ведь здесь присутствует ещё и Байрон! В «Тени друга» слышен и будущий Мандельштам, и Элиот. Но от поэтов рубежа восемнадцатого — девятнадцатого веков один шаг до античности, с оглядкой на которую они писали. И тут мы попадаем в объятия Горация. В свою очередь античные поэты вызывают к жизни античных философов, у которых они, собственно, искали ответы на свои онтологические вопросы. Появляется Эпикур. Или Гераклит, чьё учение о логосе в виде огня вещей — готовый поэтический образ двадцать первого века...

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Если говорить о молодых читателях/слушателях, то довольно существенная часть тех, кто приходит на мои вечера, — люди, младше меня на поколение, а то и на два. Мне о них ничего, кроме того, как блестят в темноте их глаза, неизвестно. Среди пишущих — да, я иногда слышу... как бы это сказать... серьёзность намерений. Желание увидеть за словами и через слова нечто большее. Философичность, на самом деле. И это мне близко. В разной степени мастерства и таланта — она слышна у многих. У екатеринбургского поэта (ныне обосновавшегося в Липецке. — *прим. ред.*) Константина Комарова, например. У московских Андрея Фашицкого, Даны Курской и Клементины Ширшовой. У Антона Метелькова из Новосибирска. У Евгения Витченко из Тюмени. У пермяков Антона Бахарева и Владимира Кочнева. У поэта из Уфы Марианны Плотниковой. Таких поэтов наверняка больше — я невнимательно слежу, это дело критиков... Но общая нота, отзвук есть. Отличает их от нас отсутствие иронии и самоиронии. А ирония, как известно, признак романтизма. Стало быть, они — такие пост-романтики. Очень серьёзные молодые люди, на самом деле. Из тех, кто постарше, кто идёт прямо след в след за моим поколением, — это Виталий Науменко, увы, покойный уже, это Александр Стесин, житель теперь

бесконечно далёкой Америки, Ганна Шевченко... Но вообще можно просто посмотреть по авторам «Новой Юности». Подсознательно отбор всё равно идёт на уровне глубинного родства. Если говорить об «оппонентах», думаю, это просто та поэзия, которая тебя оставляет равнодушным. Например, поэзия «филологическая» — когда, по выражению Милоша, слова говорят о словах. Или та, что фокусируется на гендерных или даже медицинских проблемах. О патриотичности, пропаганде и прочем мусоре в поэзии и говорить нечего.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Чтобы ответить на этот вопрос, двадцать лет назад я составил антологию «Стихи тридцатилетних». Тех, кому сейчас соответственно по пятьдесят с лишним. Большая часть этих поэтов продолжает писать стихи. Оглядываясь назад, я бы сказал, что эти стихи объединяет их онтологический характер. То есть разговор о бытии, его законах, принципах и категориях — и смысла человека в нём. Философский разговор, хотя и через образы, разумеется. В древней Греции философы не зря считали равными себе только поэтов. Даже если ты говоришь об утюге, не важно. Или о вывесках на улице. Есть вектор, попытка заглянуть «за». Но поскольку все мы начинали в девяностых, в короткий и печальный век русского постмодернизма, в стихах поэтов моего поколения присутствует, наряду с серьёзностью, некое игровое, трагедийное начало. Они маркированы иронией и самоиронией, что, как известно, есть признак романтизма... Но об этом я уже говорил, кажется.

Ростислав Ярцев, филолог, поэт (г. Москва)

«Я мыслю в контексте мировой культуры»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Наследовать можно школам или конкретным авторам. Мне всегда был дорог опыт работы с катастрофой, диалог со смертью и с бессмертием, предельные онтологические переживания человека (словом, весь XX век). Я мыслю не в рамках национальной поэзии, а в контексте мировой культуры. Здесь следует назвать имена близких мне поэтов: Рильке, Целан, Йейтс, Элиот, Фрост, Хлебников, Мандельштам, Цветаева, Блок, Пастернак, Транстрёммер, Айги, Дикинсон, Седакова, Айзенберг, Е.Шварц, Гронас, Степанова, Барскова и многие, многие другие, переводившие и продолжавшие друг друга голоса.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Конечно, узнаю. Я учусь у читателей в той же мере, что у авторов, ведь последние не могут быть собой без опыта чтения и интерпретации ими творчества их предшественников. Близкий мне круг поэтов так или иначе переосмысляет наследие советской неподцензурной поэзии и «второго модерна». Это поэты Софья Дубровская, Владимир Кошелев, Ника Третьяк... Поколение двадцатилетних поэтов изнутри уже представляет собой калейдоскоп оппонентов друг другу. Но все они так или иначе — чьи-то наследники, и в первую очередь — те, кто желает утвердить инновативную поэтику.

На собрание под своим лейблом разнообразных новаторов претендует журнал «Флаги», но чем дальше, тем больше мне кажется, что выбор авторов для публикаций там определяется не провозглашаемым журналом разнообразием, а вкусами хозяев проекта. На фоне «Флагов» деятельность журнала Валерия Шубинского и Богдана Агриса «Кварта» выглядит более честной, открыто артикулирующей собственную оптику и не претендующей на мифическую всеохватность поэтической жатвы.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Ничто так не объединяет, как общее горе, общие утраты. Многого я жду от переосмысления поэтическим сообществом наследия поэта Василия Бородина после его гибели... В сложившихся обстоятельствах важно громко и постоянно говорить о всеобщей гуманитарной трагедии на любых языках. Как бы ни отличались друг от друга разные стратегии письма, поле поиска общих смыслов диктуется мясорубкой истории (а этот кровавый суфлёр подсказывает, что двадцатый век не окончен, и его уроки в России не усвоены).

(Окончание в следующем номере)

Александр Мелихов

Защита Попова

Валерий Попов всегда был, есть и наверняка пребудет Валерием Поповым. Когда полагалось восхвалять советскую власть, он ее не восхвалял. Когда полагалось ее обличать, он ее не обличал. Когда было модно объявлять литературу игрой, не имеющей отношения к реальности, он всегда исходил из обычной реальной жизни. Однако никогда не «отражал» ее, но всегда преображал, творил из будничного «сора» свой блистательный валерийпоповский мир. Годы над ним не властны, он с молодой регулярностью публикует книгу за книгой, ничуть не теряя ни своего знаменитого остроумия, ни зоркости, ни уникального дара творить из будничной белиберды ослепительный гротеск.

На чем же зиждется это поистине кавказское долголетие, на какой такой «диете» сидит писатель? Да на той самой диете, которой его дар потчует и нас, и его самого. Валерий Попов сотворил чрезвычайно полезные для душевного здоровья и собственный прелестный мир, и собственную эпоху, где он и самовластный правитель, и верховный судья. Судья мудрый и снисходительный. Не бывает позорных эпох, считает он, люди всегда делают, что могут, и даже немножко больше.

Застолбив свое мироздание демонстративным слоганом... или мемом?.. в общем, девизом «Жизнь удалась!» еще в 1980 году,

Попов упорно обращает в золото искусства все, что с ним происходит, не обходя и самые мучительные трагедии: гибель дочери, тяжелейшая болезнь жены, угасание отца.

Но ведь нам много лет благородные гуманисты давали понять, что дело литературы оплакивать человеческие страдания? Попов думает иначе: «Задача литературы — приучить людей пить страдания не из лужи, а из драгоценного сосуда».

Так что лозунг «Жизнь удалась!» — не столько констатация факта, сколько декларация о намерениях: не сдавайся, жизненный успех не в том, чтобы избежать страданий, а в том, чтобы их эстетизировать. И в этом отношении жизнь Валерия Попова действительно удалась!

При всем его насмешливом отношении к звериной серьезности Попов много десятилетий хранит верность своей излюбленной идее. Еще в раннем рассказе «Ювобль» он писал: «Нужно иметь защитный слой, в котором сторали бы, как метеориты, летящие в нас несчастья». Из чего этот слой? Во-первых, фирменный поповский оптимизм, точнее, сопротивление пессимизму. «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» — пусть даже в реальности все далеко не так. Но литература, по Попову, должна улучшать жизнь. Вторая составляющая его защитного слоя — умение перевернуть грозные штампы с ног на голову. Вот диалог двух пассажиров в самолете: «Все-таки страшно, если вдуматься: десять километров под нами!» — «Десять километров? На такси — трёшка!» Страх высмеян и уничтожен.

Валерий Попов. Любовь эпохи ковида: Повести. — С.-Пб.: Лимбус-пресс, 2021.

Однако с годами ворочать такую тяжелую, а часто и тяжкую вещь, как обстоятельства, быть может, все трудней? Или защитный слой Валерия Попова с годами не скудеет и не тускнеет?

Когда ты вынужден долго читать не для удовольствия, а для дела, хотя и в деловом чтении есть своя прелесть, постепенно забываешь, что чтение хорошей книги — занятие не только увлекательное, но еще и исполненное ежеминутных маленьких радостей и открытий. В книге Валерия Попова «Любовь эпохи ковида» радости и открытия начинаются с первого же абзаца. Герой-рассказчик идет по солнцепеку и вдруг замечает, что за ним следует птичка, спасающаяся от жары в его тени.

«Писатель — это тот, под кем земля цветет». А читатели находят отдохновение в рассказываемых им историях.

Жизнь, правда, такая сволочная штука, что самая веселая история, если вовремя не остановиться, рано или поздно доберется до похорон. Первая повесть книги, название которой содержит каламбур — «Незабываёмоё», начинается и длится как увлекательная многоцветная история семейного клана во главе с обаятельнейшим двоюродным братом повествователя Игорьком, стремящимся и без того яркую реальность раскрасить до гротеска. При этом Игорёк — талантливый инженер, он с блеском защитил диссертацию о любимых электрических самолетах, которые должны будут летать не просто в пределах земной атмосферы, — на крыльях солнечных батарей они устремятся прямо к солнцу. Однако Игорьку этого мало, он постоянно ищет романтики за пределами своей, казалось бы, и без того романтической профессии. Подобно мотыльку, он и сам устремляется к солнцу перестройки, а затем и бизнеса и едва не сгорает в этом порой зловонном пламени. Эти страницы книги, по поповскому обыкновению, весьма естественно перерастают в фантазмагорию, которая лучше концентрирует тогдашние бурления, чем точный физиологический очерк.

А время, между тем, не щадит даже таких орлов и красавцев: Игорёк погибает от рядового тромба не таким уж, по нынешним временам, и старым.

И что же остается в утешение? «На меня с фото смотрит веселый Игорёк...»

В чем же его подвиг, чем он так привлекал всех? Обычный записной весельчак? Отнюдь. Главное, чем привлекает он нас, — неизбывной грустью по недостижимому, великому счастью и великому страданию, которых даже самая успешная жизнь «не ухватит». Всем нам знакомы эта печаль по «главному, несостоявшемуся». Но только Игорёк находил всему этому трагически-нелепые клички, веселил народ, произнося их страдальчески. «Чудовищная бедность», «флюоресцирующий социализм», «тотальный зондаж»... Откуда являлись ему эти слова? Но именно он «озвучил» все так, как нравилось его друзьям и близким, разрисовал жизнь, подарил своим ближним и любимым вместо унылой реальности словесный карнавал. Такого никто больше не сможет — поэтому так и грустно рассказчику и всем, кого он оставил. Трагическая история с постоянным отсветом улыбки.

Комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, — так писал Белинский о повестях «г.Гоголя». Но в повести Валерия Попова грусть и уныние не побеждают, от нее остается чувство светлой печали. Ибо и у Гоголя, и у Попова торжествует не «совершенная истина жизни», от которой искусство и стремится нас защитить, а ее художественное преображение.

Искусство есть примирение с жизнью, писал Гоголь в письме Жуковскому из Неаполя «10 января» 1848 года, и художественные приемы, при помощи которых Попов добивается этого примирения, еще отчетливее выступают во второй части книги — в хрониках «Любовь эпохи ковида», где эти приемы меньше заслонены сверкающей поповской фантазией. По крайней мере, в первых главах. Вот в них и взгляды.

В первой же строке герой-повествователь видит, что пришла весна и солнце наконец-то «свесило ноги» в его двор-колодец. Многие ли из нас замечают такие чудесные мелочи и так оживляют их метафорой? «Вот отраженный луч озарил мой любимый цветок на тумбочке, и я увидел бутоны! Ура!» — и цветок «любимый», и бутоны — повод кричать «ура». А дальше происходит еще одно чудо — цветок погас, а озарена уже книжная полка. «Меня даже качнуло. Как быстро, оказывается, вертится земля...» Столько маленьких праздничков на пятнадцати строчках, изображающих самые обыденные явления.

«И завтрак прелестен, нетороплив». И во время завтрака можно разяснять невнимательной жене, что ложки бывают двух видов: швырялы и крутилы. При помощи швырял сахар сыпается в кипяток «с огромной высоты», чтобы не замочить совок, а крутилами сахар размешивается.

«Чудесный день! Таких, мне кажется, не было никогда раньше».

Потом звонит юная волонтерша из службы психологической поддержки. Поддержка не нужна, зато лодыжки волонтерши прелестны.

«Ну просто прелесть — черт ее принес».

В соответствии с последними веяниями передовой цивилизации волонтерша намеревается жаловаться в соответствующие инстанции на «визуальное домогательство», но под влиянием жизнелюбия героя (хоть и больного ковидом) преображается. По его мнению, «новая чума», как некогда во

Флоренции, должна привести к Ренессансу, небывалой вспышке энергии и таланта, и он пытается продемонстрировать это словом и делом. Воздействует на волонтершу и гениальный «Декамерон», который по его просьбе она приносит герою в больницу. В итоге они вместе с героем и спасшим его врачом отплясывают гопака в уютном «шинке» недалеко от больницы. Жертвы, увы, есть: врач, ставший их другом, умирает в конце повести, как и многие врачи, в очередной раз спасшие цивилизацию. Смерть близко, но мы должны ответить ей Ренессансом, подъемом духа, — героям Попова это удастся. У них что — какая-то особая жизнь? Да нет, все обстоятельства у них такие же, как у всех. Просто у них особая внутренняя «начинка», и «начиняет» их кулинар Попов. Даже когда у героя крадут кошелек, он не огорчается, а восхищается «виртуозностью исполнителя». Да, необычный для пресной нравственности, чисто «декамероновский» подход. Попов высмеивает ханжеские препоны, душа гуляет, как этого хочется автору.

В хрониках, разумеется, находится место и фирменному поповскому гротеску, но это нужно читать, не буду, как сейчас выражаются, спойлерить. Рекомендую только, увлекшись сюжетом, не упускать из виду прелестных подробностей, усвоив которые, вы выйдете из хроник гораздо лучше вооруженными для превращения скучных будней в нескончаемую череду маленьких праздников.

Александр Климов-Южин

Изобретение паруса

Есть поэты, которые, живя в своем времени, пишут не для него (и подразумевают не современность и не повседневность), они просто не берут его в расчет. Разумеется, реалии их жизни не могут не присутствовать в стихах, но они не фиксируются намеренно, они присутствуют естественно, как вдох и выдох. Мода и мейнстрим их не касаются. Галина Нерпина — именно такой поэт.

Стихи, собранные в книге «Остролист», имеют лирико-философскую форму проживания, почти утраченную в нашей литературе. Пересечение границ и пространств в книге не более чем темы, автор на всех широтах остается един в своем стремлении «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия».

Свершает он эти открытия прежде всего для себя. В Галине Нерпиной меня всегда удивляло стремление жить красиво, красиво и эстетично, как когда-то обмолвилась Цветаева: «Я счастлива жить образцово и просто», она так и живет, но, самое главное, она и пишет так, как живет. В ее стихах присутствует стремление к красоте, нет задачи эпатировать, поставить строку на излом. В наш век разрушения эстетики и цинизма (многие из сегодняшних стихотворцев на этом строят основание своей индивидуальности).

Я бы сказал, что Галина Нерпина — ренессансный поэт. Жизнь пропускается в ее стихах через культурные коды. В книге «Остролист» удивительно то, как, сохраняя

традиции и преемственность русской классической литературы, поэту удается быть вполне современным в рамках несовременного словаря. Это достигается семантическим разнообразием и стилистическим построением фраз, где старые слова получают новое содержание и звучание. Иногда это ренессансное звучание пробивается сквозь поэзию Нерпиной, как обертона из аутентичного времени:

Когда досуг мы страсти подчиним
Столь явно, что смутится добродетель.

Начало «Элегии». Какая четкая формула слова, стремление к шекспировской конкретности, отсюда и смысловая глубина. Но ведь ренессанс не распространяется только на ранний XV и на XVI века. По отношению к нам век Пушкина, Тютчева, Фета — это время развития, расцвета нового поэтического языка, нового слова. Тоской по этому слову, стремлением жить в языковой стихии поэтов-предшественников (прежде всего Мандельштама, Тарковского) пронизана, от корки до корки, буквально вся книга стихов «Остролист». Остролист, как известно, растение колючее, из этой его особенности, как мне представляется, и произошло название книги. Уже с первого стихотворения взята высокая нота традиции русской философской лирики.

В зеркале водном ели так черны,
так чутко полон парус тишины,
и небеса так страшно догорают —
что лист не сможет с дерева упасть...
Какая мука и какая власть
послушными созвездьями играют?

В подземных тиглях движется огонь,
перетекая в стебли... Только тронь —
и он тотчас же в кровь твою вольётся.
И травы дышат, ночь собой согрев,
и льнёт соцветьями к коленям львиный зев...
И вечность гулко в сердце отдаётся.

Почти inferнальный пейзаж совмещен с пейзажем земным, и где-то в середине автор выдает свое присутствие определениями с существительными — «какая мука и какая власть», и тогда понимаешь, что именно он — демиург этого пейзажа. Еще Гюстав Флобер писал: «Художник должен присутствовать в своем произведении, как Бог во вселенной: быть вездесущим и невидимым». Вот эти вездесущность и невидимость — основные свойства поэзии Нерпиной.

Уж, казалось бы, кто ни писал о Венеции: и Лермонтов, и Тютчев, и Бунин, да и Мандельштам, конечно, со своим гениальным «Венецианской жизни, мрачной и бесплодной»... «Венецию» Галины Нерпиной можно смело рискнуть поставить в этот ряд безупречных антологических стихотворений.

Здесь часть пейзажа составляет грусть.
Плывущие дворцы, туман и запах,
и лвы печальные на мокрых лапах —
как будто долгой смертью жизнь поправ,
со смертью не кончаются, ты прав».

«Вода есть время; и покуда сны
ещё способны удержать что-либо,
сквозь сумерки — со стороны залива —
Венеция мерцает красотой.
И Божий дух несётся над водой.

Летучее мирозерцание, гармония в постижении красоты. Все приведено в движение, и это движение из настоящего в прошлое, ибо каждый наш миг проживания на земле — это уже история, а в случае с Венецией — это история, запечатленная в камне великой нетронутой архитектуры, в ритуалах карнавалов, даже в действе зажигания фонарей, и эти фонари из розового муранского стекла на темно-зеленом кованом столбе тоже сама история, как лвы Венеции, как ее гондольеры и звонари. Панорама, достойная Каналетто, уместилась в рамках триптиха вместе с постижением непрерывности

жизни в статике городского пейзажа. Кстати, фонарей, венецианских и прочих, горит достаточно на страницах книги, они — символы, и зажжены как охранители жизни, но ночь неизбежна... А потом?

а потом заходит кромешный мрак
поболтать о вечности
просто так.

Жизнь на свету и думы в темноте —
так и рождается философия.

Удивительна в книге поэтическая череда сужений и расширений, систола и диастола сердечных сокращений:

Когда ты спишь, я никогда не сплю.
Мне кажется — мы под открытым небом,
И я в него забрасываю невод.
Поспи ещё, я так тебя люблю.

Пример полной расслабленности и умиротворенности. А вот пример систолы:

Вобрав весь свет и тень
добра и зла,
взлетает безутешная пчела,
из вечных странствий
возвращаясь в улей...
Густым янтарным смыслом налита,
грабительница летнего куста,
летит жужжащей, полной яда
пулей.
Затем, что жизнь обозначает страсть —
ей нужно долететь или пропасть.
Увидеть опечатанный и жуткий,
свой разорённый,
свой сожжённый дом...
Попасть туда — и умереть потом,
застыть во времени,
в прозрачном промежутке.

И не важно, что я привожу примеры, казалось бы, так далеко отстоящие друг от друга, диаметрально противоположные, внутренняя жизнь сердечных сужений и расширений намного важнее сужений и расширений географических; будь то полет шмеля на шести сотках или приподнимание грудной клетки мирового океана, над всем довлеет человек, его сердце. Задачи, которые ставит перед собой поэт, ответы на вопросы *почему*, или не ответы, никогда не проявляются

сразу, в начале, их нужно искать на страницах и в строках всей книги. Мне всегда в связи с этим был чрезвычайно интересен у авторов параллелизм мысли, не литературный параллелизм, а именно мысли (мало у кого находил), а у Галины Нерпиной нашел. Сейчас поясню.

Слово больше, чем жизнь, —
И расходится с нею.

Эти строки я запомнил у автора в начале книги — в стихотворении «Офелия».

Уже тебя видят не там и не те.
Ты глаз не сомкнёшь до утра в темноте.
Что жизнь затянулась — не в этом беда.
А страшно признаться: сбывлась, да не та, —

читаю в конце. Вот она, причинно-следственная связь, одно вытекает из другого: слово больше, чем жизнь, и расходится с нею, потому и страшно признаться: жизнь сбывлась, да не та. Философия, в действии которой управляет отнюдь не разум, а провидение и еще, конечно, все те же диастола с ее отливами, и приливы с систолическим наполнением человеческой крови, иначе все мертво. На этой тонкой грани золотого сечения и балансирует поэзия Нерпиной.

Но вернемся все же к теме ренессансного миросозерцания в книге «Остролист».

Тему эту я вижу и в ключевом стихотворении книги «Изобретение паруса»:

Но человека всё ведёт к воде.
В ней, растворяясь, исчезает старость.
И вот однажды, вопреки судьбе,
он просто так изобретает парус.

Ветер времен конкистадоров наполняет эти паруса в предвкушении открытий новых земель. Сколько бы человек ни жил, он будет заново изобретать свой парус. Что можно увидеть с берега? «Холодную пустыню океана».

А что корабль? — такие же дрова...
Но опьяняет запах древесины —
и океан качает острова,
и выгибает гибельную спину.

Конечно, в наш век высоких технологий можно сконструировать и спустить на воду непотопляемый эсминец, как можно слепить из словесных пазлов, казалось бы, стихотворение, вот только поэзию не слепишь. Согласитесь, фрегат выглядит все равно предпочтительней, потому что ручная, штучная работа, и только мастер имеет право отправить его в плавание.

«Красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра». Галина Нерпина видит очень многое и зорко, ювелирно обходит рифы безвкусицы, в ее поэзии нет случайных слов и смыслов. Стихи в книге «Остролист» ассоциируются с формулой молодого Мандельштама, потому что созвучны ему в цветке, пчеле, в вызревании и умирании жемчуга.

Елена Севрюгина

В ожидании крупной добычи

Новая книга Александра Евсюкова, включающая цикл из девятнадцати рассказов и эссе, демонстрирует читателю слегка забытый метод художественного высказывания, основанного не на эгоцентрической, а на объективной, реалистичной оценке людей и событий. Несмотря на то, что эссе носят автобиографический характер, подробности личной жизни автора играют здесь скорее вспомогательную роль и могут рассматриваться как один из источников создания сюжетов и образов.

Название книги — «Двенадцать сторон света» — содержит намек на широту художественного замысла. В рассказах охватываются разнообразные географические регионы: от России и Крыма до Болгарии и Финляндии — и большие временные пласты: с конца XIX до начала XXI века; описываются характеры и судьбы, внешне никак не связанные между собой. Но это только на первый взгляд, поскольку в каждой рассказанной автором истории преследуется одна и та же цель: показать человека в решающий, поворотный момент его жизни.

Цикл самостоятельных новелл, собранных в книгу, подчиняется продуманной сюжетной и композиционной логике и фактически перерастает в роман, который вполне может быть назван «Роман о человеке». Каждая из частей повествования — «Моя вдова», «Танцующий лес» и «Письма Горе» — представляет группу историй, объединенных

сквозной авторской мыслью и типом персонажа. В «Моей вдове» читатель нередко сталкивается с исключительными героями в исключительных обстоятельствах или же с такими жизненными ситуациями, которые внезапно высвечивают иную, до времени скрытую сторону человеческой природы. Не случайно Александр Бушковский определяет художественный метод Евсюкова как «романтический реализм». Но к этой характеристике можно добавить еще и другую: будничность героизма. Согласно авторской логике, поворотными моментами в жизни человека чаще всего становятся экстремальные ситуации, выводящие его из привычной зоны комфорта. В такие минуты экзистенциальных прозрений проще увидеть себя со стороны и осознать тотальное неблагополучие своей или чужой жизни.

Нечто подобное происходит с мальчиком Леной из рассказа «Приступ». Уже многое понимающий о жизни и людях, герой переживает важный этап взросления, когда с его дедом случается инфаркт. Трагедия заставляет ребенка по-новому взглянуть на окружающее, преодолеть страх перед бабушкой — суровой и набожной женщиной, ненавидящей его мать и все время призывающей конец света («Скорей бы Гонец Цвета... Скорей... скорей! Чтобы — всех!!»). Деда увозят в больницу, и за те недолгие часы, которые бабушка и внук проводят вместе, Леня открывает для себя причину ее необъяснимой прежде суровости — одиночество и страх. Он уже не боится гневно сказанных слов о конце света и понимает,

Александр Евсюков. Двенадцать сторон света. — М.: Формаслов, 2021.

что внезапно стал сильнее того, от кого ему все время хотелось спрятаться под одеяло: «Он понял, что <...> все это говорила не она сама, а огромный страх внутри. Леня улыбнулся и осторожно провел рукой по ее опущенной седой голове. Он уверился — конца света не будет».

То, как человек ведет себя перед лицом беды или опасности, позволяет многое о нем понять. Центральное — по степени эмоционального накала и концентрации авторской мысли — место в книге занимают рассказы «Караим», «Гранатовое дерево», «Черный Орел», повествующие о непростом нравственном выборе. Самуил, главный герой рассказа «Караим», переживает глубокую личную трагедию. Его жена во время тяжелых родов лишается по вине доктора долгожданного сына. Смыслом жизни Самуила становится месть — осуществиться ей не дает маленький сын врача, сошедший с крыльца в тот момент, когда должно было совершиться убийство: «У сына были огромные светлые глаза. Он был совсем крохой и пролепетал мне что-то радостное и доверчивое. <...> Береги его, как он сегодня сберег тебя, — сказал я на прощание».

Самуил — один из самых ярких и привлекательных героев книги. По словам Александра Евсюкова, для создания этого непростого национального характера ему понадобились три реальных прототипа: «Душа целого народа будто ожила, куда-то двинулась и теперь проходила сквозь меня и говорила, говорила разными голосами».

Рассказ «Гранатовое дерево» — о силе любви, перед которой ничтожен даже страх смерти. Рядовой Всеволод Горошин, уходя на русско-турецкую войну, получает от своей невесты Наденьки подарок — костяной гребень. Этот гребень — символ верности — становится в структуре повествования важной художественной деталью. Во время одного из ожесточенных боев Горошин, спасший целую роту солдат, неожиданно обнаруживает пропажу гребня. Забывая об опасности, юноша бежит к «израненному осколками гранат

дереву», чтобы отыскать выпавший из кармана подарок возлюбленной.

Истинное лицо человека открывается в минуты жизненных испытаний, но, к сожалению, не все могут пройти их достойно. Главный герой рассказа «Черный орел» Мартин, внук чернокожего летчика Вашингтона Линкольна Фаунтлероя, долгое время пребывает в уверенности, что его близкий родственник заслуживает самого глубокого уважения и восхищения. Но однажды он получает письмо из Финляндии — в нем просьба погасить давний долг деда. В поисках истины Мартин летит в Хельсинки, где окончательно развенчивается миф о личном друге туземного короля и главнокомандующем императорской авиацией Абиссинии». Вчерашний идеал и образец для подражания оказывается заурядным выскочкой и кутилой с замашками аристократа.

Если добро и зло в первой части книги окутаны ореолом исключительности и романтизма, то во второй части они запрятаны глубоко в повседневность. В нашей обыденной жизни нужно быть достаточно зорким для того, чтобы разглядеть предателя в близком человеке, палача — в соседе, исключительную личность — в заурядном пьянице. Именно об этом рассказы «Ведьма», «День палача», «Проводы», «Лодка Саньча» и т.д.

А вот заключительная часть — «Письма Горе» — удивляет неожиданным открытием. Оказывается, автор все же присутствовал в своих рассказах, удачно маскируясь и оставаясь невидимым для читателя. Его саморазоблачение происходит в первом же автобиографическом эссе «Сюжет», где без особого труда угадывается история того самого мальчика Лени из рассказа «Приступ», на чью долю выпали вполне взрослые испытания. Только теперь события описаны более прямолинейно и с углублением в личную историю каждого персонажа. Из эссе мы узнаем, что прототипом героини является бабушка самого Александра Евсюкова — баба Валя, уроженка шахтерского поселка Нагорный в Тульской области, где провел свои детские годы автор. Муж бабы Вали, потомственный

шахтер, был когда-то сильно влюблен в ее младшую сестру, отказавшуюся от своего счастья по настоянию матери. Поэтому ссоры и недопонимание в семье были нередки. Именно этим обстоятельством отчасти можно объяснить суровость женщины и ее строгость к внуку и его матери.

Невольно возникает вопрос, не опровергает ли это внезапно сделанное открытие первоначальный тезис о том, что автор дает объективную реалистическую оценку людей и событий, отказываясь от мемуаристского подхода к художественному тексту? Думается, что нет. Соединив личную историю с художественным вымыслом, Евсюков реализовал сразу две задачи: поставил себя в один ряд со своими литературными персонажами и продемонстрировал принцип работы прозаика, отбирающего те факты человеческой жизни, своей или чужой, которые могут стать основой для рассказа. Мальчик Леня — это не собственно автор, а скорее его проекция, воплощение его мыслей и чувств.

История о нем воспринимается вполне органично на фоне других рассказов, где речь идет о духовном взрослении героев путем преодоления собственных страхов, предрассудков, навязчивых идей. При этом реалистичность повествования, его объективность остаются главными чертами художественного метода Александра Евсюкова.

В завершающем книгу интервью, взятом у самого себя, Александр Евсюков утверждает, что быть писателем не так уж трудно — для этого достаточно иметь хорошую память (не только зрительную, но и душевную), не переставать удивляться всему вокруг, а главное — сочетать в себе амбициозность и смирение: «А еще есть такая парадоксальная внутренняя способность: быть и амбициозным, и смиренным одновременно. Вот этому-то канатному равновесию приходится учиться долго и предельно внимательно. С надеждой, а потом и с уверенностью, что я только в пути за своей самой крупной добычей».

Евгений Абдуллаев

Фрагменты речи поэта

Теперь — не о политическом, а о поэтическом. О поэтах, пишущих о поэзии.

Поэты о ней, собственно, и должны писать. Но делают это они не так часто.

Я не имею в виду случай, когда поэт выступает как критик. Критика — другой способ дыхания и мышления. Когда поэт пишет критику, он временно перестает быть поэтом. Он должен отойти немного от себя-поэта и от поэзии. Ради взгляда со стороны, ради какой-то объективности.

Другое дело, когда поэт выступает не в качестве критика-судьи или даже филолога-исследователя (здесь требуется еще большая дистанция от поэзии), а когда он просто размышляет о ней.

Разговор о поэзии, когда его ведет поэт — это стихи, лишь случайным образом записанные прозой. Даже когда в этот разговор вкрапливаются автобиографические, политические, филологические и прочие мотивы. В этой области есть свои вершины — например, «О поэзии» Мандельштама и «Азбука чтения» Паунда.

Нельзя сказать, что последние лет десять-пятнадцать книг поэтов о поэзии было мало. Можно вспомнить сборники Григория Кружкова, Алексея Пурина, Юрия Казарина, Олега Юрьева...

Усилился ли интерес к таким сборникам в последнее время?

Похоже, что нет.

А жаль. Поэзия сегодня переживает драматичную трансформацию, и рефлексия о поэзии нужна как никогда. Особенно — производимая самими поэтами.

В этом «барометре» речь пойдет об эссеистических сборниках трех крупных современных поэтов — Виталия Кальпиди, Максима Амелина и Андрея Таврова¹. Называю в порядке появления сборников: «Густое» Кальпиди вышло в 2020-м, «Книга нестихов» Амелина — в 2021-м, «Короб лучевой» Таврова — буквально недавно, еще краска не просохла.

Начну с «Густого», носящего несколько обманчивый подзаголовок: «Книга поэзии».

Нет, стихи в книге тоже присутствуют, и вроде бы даже являются в ней главным. А поэтическая эссеистика — по замыслу — просто предваряющим пояснением и последующим комментарием к стихам. «Преамбулой и титрами».

Прием для Кальпиди не новый — опробован еще в его «Мерцании», 1995 года. Стихотворение, следом — построчный эссеистический комментарий. Тогда это,

¹ Кальпиди В. Густое: Книга поэзии (М.; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2020); Амелин М. Книга нестихов (М.: Б.С.Г.-Пресс, 2021); Тавров А. Короб лучевой. Интуиции, эссе и заметки о поэзии и культуре (М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. Серия «Письмена времени»).

правда, выглядело свежее и — на фоне кипевших постмодернистских игр — более оправданно. Да и стихи были, на мой вкус, ярче. Нет, в стихах в «Густом» — все то же версификаторское мастерство и узнаваемые приемы...¹ Отдельные яркие, удачные строки. Например, вот эти — переключка с пастернаковскими «Соснами»:

На всём посверкивают блики,
но сверху было видно: лес
от духа тёплой земляники
сам на свои берёзы влез.

Ладони летнего молчанья
так были не напряжены,
что разродились на прощанье
овациями тишины.

Но, повторюсь, главное в этой книге — не стихи, не несколько нарциссичные «мысли о себе» и не та желчь, которой Кальпиди щедро орошает и современников, и классиков².

Главное — рассуждения о поэзии. Прежде всего, не просто различение *поэзии* и *стихов* (мысль не редкая), но что поэзия *противостоит* стихам.

«Гениальная поэзия не похожа на стихи. Гениальные стихи по сравнению с ней — ничтожны».

Или: «Поэзия же работает на территории, где всё находится под запретом, — под запретом названия. Если она пробует жить в более комфортных локациях, она мгновенно превращается в литературу, в стихи. Это видно даже на некоторых текстах: вот здесь поэзия, а здесь стихи, а здесь слепая зона перехода из одного в другое».

Мне эти рассуждения не близки: для меня альфой и омегой является именно стихотворение — даже когда оно не самодостаточно (например, внутри цикла или сборника). Тем не менее мысль свою Кальпиди проводит настолько изящно и афористически убедительно, что ее принимаешь.

В отличие от «Густого», изначально писавшегося как книга, у Амелина и Таврова — сборники уже написанного-опубликованного. Что не лишает их цельности. Обеспечивается она единством главной темы: поэт, поэзия, время.

«Книга нестихов» — тоже заголовок-обманка: стихи в ней присутствуют. Но не самого Амелина, а других поэтов, переведенных либо «воскрешенных» им. Если Кальпиди пытается сбросить с пьедестала и «зарыть» большую часть классиков, то Амелин — воскресить тех, кто классиками не стали, но этого заслуживают.

«В юности сильнейшее впечатление на меня произвела “Философия общего дела” Николая Фёдорова <...> Мне показалось, что его идеи вполне могут быть применимы <...> и в отношении ко всей предшествующей поэзии, осознаваемой как единый <...> организм, в котором не должно быть победителей и побежденных, любимцев и изгоев, ставших таковыми зачастую лишь в силу <...> недалёковидных утверждений современников или избирательной памяти потомков».

Итак, задача поэта — воскрешение.

¹ Вроде столкновения высокого и низкого (на грани, а чаще — далеко за гранью обценной лексики) стиля, метафизического и натуралистически-физиологичного, или любви к словесным играм и каламбурам («Чай, не случайно, выкушавши чая...», «По сути, он её *олигофренд*...», «(Вот хохмачка!) хомячит Хому...» и т.д.)

² Ахматова — «паскудница», Бродский — «обыватель», Маяковский — «всю жизнь <...> вёл себя как полный мудака». И так далее. Отзывы о современниках даже не хочется приводить — всем досталось на орехи.

То, что у Фёдорова заявлено как «общее дело», для Амелина — сугубо личное, свое. Он не призывает к соучастию в этом воскрешении ни других поэтов, ни читателей; лишь делится с ними результатами своих трудов.

Делает эту работу он спокойно, добросовестно и несколько торжественно¹. Временами кажется, что этой классической торжественности даже с перебором: «Поэзию, как область приложения умственных и душевных сил, я не выбирал, она выбрала меня сама и заставила служить себе истово и преданно». Сказано это, впрочем, в премиальной речи (на вручении премии Солженицына), а в этом жанре такой патетический вольтаж вполне допустим.

Тем более что торжественность эта — не внешне-театральной, а скорее религиозной, иератической природы. «Все поэты в мире сочиняют один общий текст, вероятно, пытаясь собрать вместе части тела растерзанного вакханками Орфея».

Пусть сегодня коллективная «сборка Орфея» идет хуже («современные стихотворцы по большей части утратили за не востребованностью не только магический, но и профетический дар»), не все потеряно.

Амелин — автор с широчайшей, где-то даже непредсказуемой отзывчивостью. Некоторые имена из «Книги нестихов», впрочем, вполне вписываются в привычно-классический круг его штудий: Гомер с Пиндаром или поэт екатерининской эпохи Василий Петров... Другие отстоят от него довольно далеко. Украинско-американский поэт Василь Махно. Забытый классик татарской литературы XIX века Габдельжаббар Кандалий. Южнокорейский поэт Сон Джончхан...

А еще и итальянские поэты, «Ригведа», Маяковский. И уже совсем неожиданные Антонио Вивальди (как поэт) и Компай Сегундо, что выглядит как вторжение в смежные с поэзией пределы музыки.

Но перейдем к третьему автору — Андрею Таврову и его «Коробу лучевому».

Если Кальпиди разбрасывает камни, Амелин — собирает, то Тавров — неторопливо разглядывает.

«Если б только нам удалось дослушать до конца глубинный смысл имен, таких, как “дерево”, “камень”, “вода”, “человек”, — туда, где они почти тишина, почти источник самих себя и всего остального мира, — фатум был бы бессилён, злая история прекратилась бы и катастрофа сменилась бы небывалым, блаженным и творческим статусом бытия, в котором смерть была бы не более чем моментом игры жизненных сил. Вот задача поэзии, как я ее понимаю».

Единица измерения поэзии для Таврова — слово; единица же измерения самого слова — заключенная в нем тишина. Еще фрагмент. «Внутри слова, в его глубине глубин, не может не располагаться тишина. Если бы ее там не было, мы просто не смогли бы его услышать. И как часто мы его не слышим!»

Вообще, особенность всех трех книг — их хочется безостановочно, замороженно цитировать. Неважно, соглашаясь или нет. Взята очень высокая планка для разговора, предельно глубокое и серьезное понимание того, что есть поэзия. Понимание разное: для Кальпиди поэзия — это некая экзистенциальная сила, способная изменять человека, прежде всего — самого поэта². Для Амелина — искомая целостность, цельность бытия. Для Таврова — первозданная тишина, из которой само бытие возникло.

¹ Как сам Амелин пишет о себе: «В своих стихотворных опытах я стараюсь говорить о болях и радостях современного мира языком торжественным и нерабским...»

² Не могу удержаться от еще одной цитаты из Кальпиди: «Кто-то хочет быть услышанным, кто-то понятым, а кто-то — мечтает понравиться. Но поэзия приспособлена только для одного — изменить поэта до ангельского состояния. И свидетели-читатели тут — лишнее звено».

«Суть этого стихотворения, — пишет Тавров о хайку Басё о лягушке, — заметим, направлена не на сам первый всплеск, а на метаморфозу волн — от звука явного до тающего, истончающегося, “беднеющего”, исчезающего, входящего туда, откуда взялся весь мир — в неизреченную тишину».

Или в другом месте, еще более определенно — если можно говорить об определенности в разговоре о таких тонких субстанциях: «Стихотворение <...> целиком располагается в пространстве между вдохом и выдохом — и в этой тишине, в этом мгновенном безмолвии — его дом, место, где творится в том числе жизнь тела, которую, благо, интеллект не способен взять под контроль — остановить дыхание, ибо вместе с дыханием закончится и его собственная деятельность».

Если что-то мешает принять эту мысль о тишине полностью, так это крайне высокая словесная и культурная плотность речи самого автора. Эссеистика Таврова — как и его поэзия — до предела насыщена философскими, религиозными, литературными отсылками и реминисценциями; его речь анти-минималистична, она, скорее, стремится заполнить собой любую тишину, любое пустое пространство...

Однако с чтением «Короба» это барочное многословие словно отходит на второй план. То, что вначале воспринималось излишним словесным и интеллектуальным декором, постепенно теряет отвлекающую вязкость. Речь не столько «говорит», сколько движется, подхватывая своим неторопливым потоком...

Итак, три разговора о поэзии, очень разные. У Кальпиди — словесная дуэль, поединок (зачастую с самим собой). У Амелина — действие. У Таврова — медитация.

В чем-то они сходятся¹, в чем-то разбегаются.

«Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве», — начинал когда-то Ролан Барт свои «Фрагменты речи влюблённого».

Речь поэта сегодня тоже находится в одиночестве. Неважно, в стихах или о стихах. Искренность, торжественность, сакральность — все в ней, как и в речи любовной, кажется опошленным и дискредитированным.

«Речь эта, — продолжает Барт, — быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства)».

Стихи сегодня тоже пишутся и говорят «тысячами субъектов». Не обязательно даже заходить на «массовые гулянья», вроде stih.ru; достаточно одного «Журнального зала».

Но поэтическая речь — за исключением вдалбливаемой в школе «классики» и песенных текстовок — тоже не поддерживается за пределами поэтического сообщества. Про власть и ее «механизмы» и говорить нечего: они вообще сейчас другим заняты.

Но нет худа без добра.

Возможно, это одиночество и дает поэзии возможность для неторопливого обдумывания своих оснований и целей. Для размышления о том, что она есть сегодня. Три книги, о которых шла речь, по крайней мере, свидетельствуют, насколько это одиночество может быть плодотворным и питательным.

¹ Например: «Поэзия начинается там, где есть непонимание» (Тавров) и «Лучше совсем не понимать текст, чем его “почувствовать”» (Кальпиди).

Борис Минаев

Берегите ваши лица

«Берегите ваши лица» — спектакль Гоголь-центра по стихам Андрея Вознесенского и мемуарам Владислава Мамышева-Монро, персонажа из «нового искусства» 90-х, который умер в 2013 году — относительно молодым еще человеком, ему было всего 43 года.

...Сближение в одной пьесе двух этих авторов и одновременно «главных героев» поначалу кажется странным.

Что общего у признанного советского поэта Вознесенского и эстетического хулигана, «безумца» и ниспровергателя всяческих клише — Владика Мамышева, которого исключили из школы за то, что изображал Гитлера, и чуть не убили в армии за то, что изображал Мэрилин Монро?

Что общего у классика-шестидесятника и молодых, наглых художников из голодных перестроечных лет, которые эпатировали публику, как могли, как умели? В конце 80-х и начале 90-х все они — от Германа Виноградова до Петлюры, от Олега Кулика до Димы Врубеля — вышли из полумрака квартирных выставок, подвалов и чердаков: о них писали газеты, на них ходила публика, привлеченная новизной и яркостью, их продюсировали молодой Марат Гельман, признанный ныне иноагентом, и молодая Айдан Салахова. Именно их выставки, скульптуры, картины, перформансы стали классикой 90-х.

Что, кстати, осталось сейчас от этой молодости и наглости, от этой «бури и натиска»? Многие уехали... Что-то лежит в архиве современного искусства (например, такой архив тщательно создавал до недавнего времени музей «Гараж»). Что-то пропало безвозвратно. Кое-кто продолжает делать выставки и сейчас — порой используя как повод 25-летие или 30-летие «творческой деятельности». Например, в московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре одновременно прошли две такие выставки — творческого дуэта Алексея Политова и Ольги Беловой и группы «Чемпионы мира»: эпатаж и ирония, творческое хулиганство 80-х и фиги в кармане, которые сегодня без умной кураторской экскурсии и не поймешь.

...Увы, Владислав Мамышев-Монро до «юбилейной выставки» и своей академической славы не дожил, что, впрочем, и не удивительно.

Было в его творчестве что-то такое, что ни в какие рамки не вписывалось, никакой «долгой жизни» не предполагало. В конце 80-х он превратил канонические, отретушированные и отлакированные портреты членов тогдашнего Политбюро во главе с Горбачёвым в «произведение искусства»: самому Горбачёву пририсовал индийское пятнышко на лбу (бинди), снабдил его густыми ресницами и прочими атрибутами мистической женственности. Досталось и другим «членам» — толстые губы, подкрашенные глаза, яркий грим. И можно было бы сказать: мол, подумаешь, дождался перестройки, когда все это было уже не опасно... Но сама судьба

Влада Мамышева убеждает в обратном: нет, он всю жизнь делал нечто, что в конце пути предполагало аутодафе. Судилище. Наказание.

...Но при чем же тут Вознесенский?

Я, кстати, тут задумался — а как он сам относился к «концептуальному искусству» 90-х и нулевых, к этим молодым поэтам и художникам, ходил ли он на их выставки, посещал ли их перформансы? Представляется, что если и ходил, то как-то очень осторожно, а может быть, и ревниво, слишком хорошо понимая эту эстетику и эту натуру. Никогда не объявлял «наследником» никого, не коронуя никакими титулами. Хотел быть отдельно от бурного течения тогдашней авангардной тусовки.

Но так уж получилось, что в начале 70-х Вознесенский написал поэтическую пьесу, в которой речь шла как раз о том, что так волновало потом художника Мамышева-Монро: об экзистенциальной природе человеческого лица, о том, что за свое лицо каждый отвечает сам, что нельзя позволить *любому* времени это лицо стереть, исказить, смять.

Пьеса «Берегите ваши лица» была им написана для Таганки, и даже поставлена. «Спустя 50 с лишним лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр этого текста, а режиссер Савва Савельев написал по его мотивам новую инсценировку, добавив к пьесе историю художника Владислава Мамышева-Монро», — честно отвечает на вопрос зрителей театральная программка, но в ней бесполезно искать ответа на следующий вопрос: *апочему* два этих человека объединены в одну историю?

Надо сказать, судьба этой пьесы любопытна чрезвычайно. После успеха «Антимиров» Вознесенский принес в театр новую поэтическую вещь, и театр решил ее поставить. Около двух лет шла тяжба с Минкультом, и наконец разрешение от департамента Фурцевой было получено. Но несмотря на все поправки, дополнения и изменения, внесенные в текст пьесы, — спектакль был показан на сцене Таганки всего три раза — один прогон, один спектакль 7 февраля 1970 года и два — 10 февраля. И его запретили...

Запретили, конечно, не случайно. Достаточно сказать, что в рамках спектакля впервые публично и официально исполнил свою знаменитую «Охоту на волков» Владимир Высоцкий. Что здесь прозвучал знаменитый «Плач по двум нерождённым поэмам» Вознесенского:

...Погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.
О, как ты хотела, чтоб сын твой шёл чисто и прямо,
встань, мама.
Вы встаньте в Сибири, в Москве, в городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,
встаньте,
Ландау, погибший в косом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты?
Встаньте,
геройские мальчики вышли в герои, но в анти...

Вообще многое было впервые — и как бы ни доказывали таганковцы во главе с Любимовым, что в первой части, где битники и стриптизерши, студенты и поэты бьются за свою свободу, плюют в лицо государству и «системе», «расшатывают устои», — речь идет «про капитализм», в Минкульте имени Фурцевой их не поняли. Сошлось на научную работу профессора ВШЭ Евгении Абелюк, впервые проанализировавшей текст пьесы Вознесенского.

Вот описание «колонны стриптизерш»:

«Колонна демонстранток, пролетарии кордебалета, идут, перегородив улицу, вышагивая гусиным шагом, строем, как на параде. Лозунги “Стриптиз бастует”, “Не обнажимся”, “Соцстрахование”, “Шансонетки земного шара — в единый фронт”, “Пенсии за вредность производства”, “Надбавки за производственные травмы”, “Эксплуататоры — самообслуживайтесь”. Девушки идут, несмотря на жару, закутаные, одетые в сто шуб, как кочаны капусты, в масках, в противогазах, в паранджах, в черных очках. Кто больше чего на себя наденет. Пантомима “антистриптиза”. Они ловят женщину, более обнаженную, чем надо. Одевают в балахон, забинтовывают. Заклеивают скотчем».

А вот описание «протестующей молодежи Запада»:

«Сцена украшена, как круглыми дорожными знаками, гигантскими значками-афоризмами. Эти значки сейчас популярны у западной молодежи, у студенчества, протестующего против западного образа жизни и искусства, против войны во Вьетнаме. В них как в кристаллах — озорная и бунтующая философия нового поколения. На значках надписи: “Мир — Вьетнаму!”, “Даешь любовь, а не войну!”, “Запретите запрещать!”, “Фрейд — зануда!”, “Я люблю Джона Кеннеди!”, “Я люблю Бобба Кеннеди!”, “Мир — это война!”, “Свобода — это рабство!”. Идет карнавал. Актеры перебрасываются значками, как тарелками, катают их как серсо, ездят на них, как на одноколесном велосипеде».

...Ничего подобного, как мне кажется, советский театр в те годы не знал, Вознесенский на целый круг опередил время.

Но и для самого театра поставить это действие было непросто — недаром Юрий Любимов определял его жанр как «открытую репетицию», подразумевая, что здесь очень много поэтической импровизации, а самого автора упрекал в том, что «драматургии маловато».

И вот на сцене Гоголь-центра Вениамин Смехов, один из актеров той самой первой любимовской Таганки, читает авторские ремарки к пьесе Вознесенского, стихи Андрея Андреевича — то есть он представляет в этой паре, в этой дилемме (Вознесенский и Мамышев-Монро) — сторону шестидесятников, «отцов». Он — своим присутствием — связывает ту и эту реальность.

...И я подумал, глядя на Смехова и вспоминая живого Вознесенского, которого не раз видел в кабинетах журнала «Огонёк» в 90-е годы, что, конечно, очень трудно их ставить на одну доску: экзотического, яркого, эпатажного художника «для немногих» — и поэта, который говорил от имени и по поручению целой эпохи, целой нации. Ведь Вознесенский именно так себя ощущал — поэтом, который говорит с целым народом, не только с интеллигенцией.

Осень
проверяет наши лица.
Свойство
есть у лиц — перемениться.
Осень —
переполнены больницы.
Просим:
берегите ваши лица!

Поиск
наш успехом не увенчан —
Проще
взять живых мужчин и женщин.
После
этой странной репетиции
Просим —
покажите ваши лица!

Вовсе
мы и не подозревали,
Совесьть —
ваши лица в этом зале.
Гости
и эпохи очевидцы,
Просим:
покажите Ваши лица!

...Трудно сравнивать автора этих строк с Мамышевым-Монро, который никакого «мы» не признавал — говорил только о себе. Но в том-то и дело, что в нынешней точке исторического времени — две эти линии сошлись в одну.

На сцене Гоголь-центра — мертвенный белый свет операционной, три хирургические койки, три световых пульта для хирургов, фигуры врачей, склонившихся над пациентами, над их лицами, и очевидно собирающихся делать им «пластику». Над сценой — экраны, на них мелькает большая видеоинсталляция с «лицами эпохи», включая, скажем, и лицо Атоса-Смехова, да, и он, наш ментор, тоже отдал дань созданию образов масскульта. Зонги на стихи Вознесенского (и «Охоту на волков» Высоцкого) исполняют замечательные музыканты: группа Shortparis, фронтмен и актер Никита Еленев за фортепиано. Это, собственно говоря, коллаж — жанр, который был выпестован, любовно освоен самим Вознесенским — и в стихах, и в его «видеомах», то есть графических работах.

И все же центральной частью всего театрального коллажа оказывается судьба Влада Мамышева-Монро. Его довольно незамысловатые воспоминания, написанные с максимальной простотой, чтобы, как говорится, «до каждого дошло». О маме — партийном работнике из Ленинграда, которая была в ужасе от его эскапад, но не переставала любить и заботиться. Об армии и о школе, советских институтах, пройдя сквозь которые, многие мальчишки 80-х могли абсолютно уверенно сказать о себе: «так закалялась сталь». И действительно, верность своим убеждениям Влад Мамышев сохранил до конца.

Поразительным образом человек, который всю жизнь только тем и занимался, что примерял, натягивал на себя чужие лица, оказался образцом того, как можно не продаться и не потерять свое собственное лицо и душу.

«Притворяясь» то Гитлером, то Чаплиным, то Мэрилин Монро, то Любовью Орловой, — он упрямо и настойчиво показывал, что под каждым ликом массовой культуры, растиражированным и привычным, прячется, в сущности, обычная, дрожащая, живая, способная и к добру, и ко злу человеческая натура, и лишь сама толпа, инстинкты толпы — настойчиво вылепляют из этой природы маски времени.

...Кстати говоря, эта проблема — как не потерять лицо в тяжелых, сложных исторических обстоятельствах, — сейчас важна как никогда. Многие об этом задумываются, многим приходится делать выбор. Налево пойдешь — лицо потеряешь,

направо пойдешь — потеряешь что-то другое, не менее, в общем, важное: страну, привычную жизнь. А то и свободу.

Делать такой выбор сложно, иногда почти невозможно. Но приходится.

И не случайно в конце спектакля возникает зловещий персонаж — чиновник (актер Андрей Ребенков), который, обращаясь к Мамышеву-Монро (а вот его играют сразу трое — Александр Горчилин, Настя Лебедева, Иван Мулин), призывает его обратиться в новую веру, служить новому государству, новой идеологии: «нам нужна свежая кровь», «нужны такие как ты, молодые, дерзкие...» Понятно, почему нужны: «старая кровь», все эти авторитеты, имена, возникшие еще в 90-е и раньше, — больше не нужны, их «уходят» тем или иным способом, они не способны служить новым целям, обслуживать новые задачи.

Правда, сам Мамышев-Монро на этот призыв уже не откликнется, он давно умер.

А вот для других, «молодых и дерзких», этот вызов весьма актуален. Берегите ваши лица...

Галерея Татьяны Назаренко



Мы открываем новую рубрику «Галерея», которую будет вести Татьяна Назаренко — заслуженный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор



Татьяна Назаренко

ВОЖДЕЛЕНИЕ. ЛОТ С ДОЧЕРЬМИ. 2012
х.м. 100x200



Татьяна Назаренко

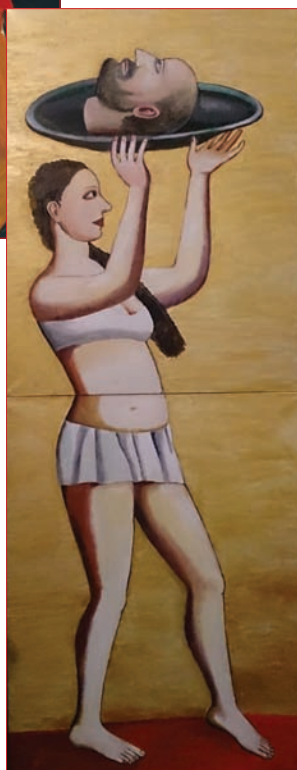
ОСЕНЬ. 2013.
х.м. 100x80

Галерея Татьяны Назаренко



Татьяна Назаренко

НОЧЬ ТИХА. 2012.
х.м. 100x120



Татьяна Назаренко

ЮДИФЬ И ОЛОФЕРН. 2011.
х.м. 160x120

САЛОМЕЯ . 2013.
х.м. 160x120



Айдан Салахова

БЕЛОЕ № 1. 2012.
мрамор 100 x 80 x 20 см.



Айдан Салахова

ПРЕДСТОЯНИЕ № 1. 2010.
гранит, мрамор 180 x 80 x 80 см.



Айдан Салахова

ПРЕДСТОЯНИЕ № 3. 2012.
гранит, мрамор 180 x 80 x 80 см.



БЕЗ НАЗВАНИЯ. ИЗ СЕРИИ
«ПЕРСИДСКИЕ МИНИАТЮРЫ». 2012.
бумага, тушь, акрил, карандаш 76 x 56 см.



БЕЗ НАЗВАНИЯ. 2012-2014.
холст, акрил, карандаш 200 x 55 см.

Айдан Салахова

Summary

Dmitrij ISAKJANOV. Proskynetarion

The story frame of D. Isakjanov's novel embraces a few hours of its protagonist's flight home, from the Arab Emirates to Russia. And this flight turns out to become a flight through the Ocean of Time on the open space of which there are emerging the islands of memory about the childhood and maturation, about the people (mainly the closest: Mother, searching for the Father, the wife's love thinning out in the separations, the little son), about "everything he had seen, everything he had heard, everything he had been inhaling through the lungs and absorbing through the skin".

Poetry

Motherland, its History and fate is the keynote of the lyrical collection by Igor MALYSHEV. And as if taking up this theme Vera KALMIKOVA comes forward with her cycle of poems "1937". Igor KUNITZIN is meditating over "private eternity". And Dmitrij RUMYANTZEV's poems are about the love and the problem of the moral choice.

Lidiya CHISTYAKOVA. "I Was Lucky to"

"In the nook, forty kilometers away from the nearest railway, among the forests and swamps, at the high hillock there was nestled up the village which we all called Kuzminka. The clergy of the parish was situated there: the young priest with his wife, the widow of the deceased priest, the deacon with his large family, the clerk vicar with his wife and children, prosvirnaya and over the ravine – the school" Thus begins her memoirs Lidiya Chistyakova, the daughter of that very deceased priest. The pre-revolutionary young years, provincial mode of life, non-simple relations with the husband, studying in Moscow, birth of the daughter, the famine during the Civil War, working in the juvenile colony for homeless children The XX century, just one life.

"Literary Barometer" by Evgenij Abdullaev

«Conversation about the poetry when a poet is doing the talking is verse-making even if it is casually written in prose. Even if autobiographical, political, philological and other motives are imbedded inside. There exist peaks in this genre, for example "About the Poetry" by Mandelstam or "ABC of Reading" by Ezra Pound. During the last ten-fifteen years quite a lot of books on poetry written by poets were published. We may mention the books of Grigorij Kruzikov, Alexej Purin, Yourij Kazarin, Oleg Youryev» This issue of our "Literary Barometer" is based on the books of essays by Vitalij Kalpidi, Maxim Amelin and Andrej Tarasov.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

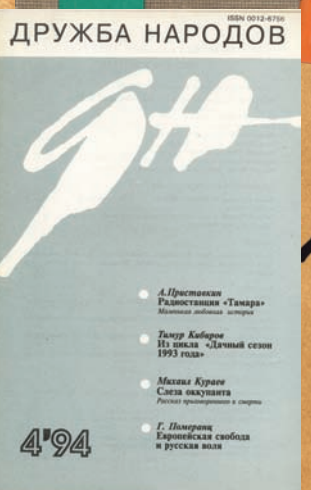
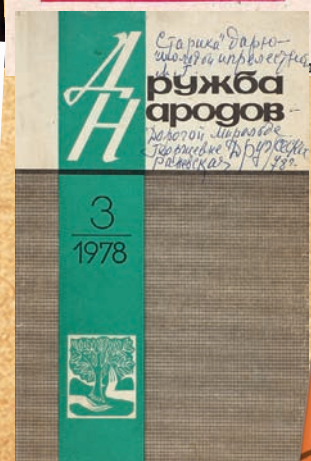
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Читайте:

Елена Ермолович. «Химера».
Плутовской роман

*«Палач уже укладывал кавалера на колоду,
и другой палач — примеривался топором,
как половчее ударить.*

*— Ох, Агашка, — вздохнул Рене, — я не могу
смотреть... — Он прежде никогда не видел,
как убивают на плахе.*

— И не надо.

*Агашка, маленький его ангел сострадания,
прикрыла Рене глаза влажной от слез ладошкой.*

*— Мне бы только стрелки твои не смазать,
юнкер... ну, вот и всё.*

*Агашка отняла ладошку — свет ослепил
трусливого юнкера до слез — и соскользнула
на землю. Палач водружал отрубленную голову
на шест — красивую голову с полузакрытыми
синими глазами и белокурой гривой, её терзал
и рвал в клочья завистливый декабрьский ветер.*

*Другой палач привязывал у столба злосчастную
Балкшу — ей за мздоимство прописали кнута.*

*Кровь была везде — на плахе, на эшафоте,
на снегу — черный, дымящийся ручей.*

*Августейшая чета поднялась с царских кресел
и двинулась к карете. Екатерина смеялась,
и край ее платья прошелся по черному ручью —
должно быть, затем, чтобы потом можно было
отпороть это кровавое кружево и хранить
под подушкой... Или нет...»*

